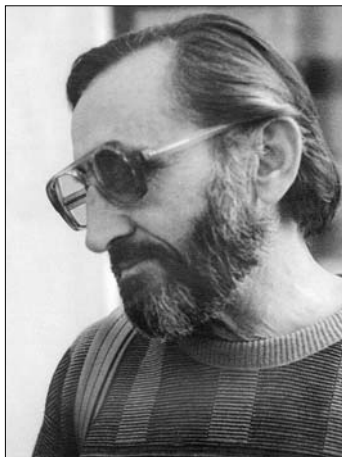


ЮРИЙ УБОГИЙ



ВРЕМЯ ВОКЗАЛА

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

В руках у меня насос, из толстостенного колена дудника сделанный.

Все тут на месте: и труба-стебель, и поршень — палочка с намотанной на самый конец пенькой, и маленькая дырочка в глухом торце стебля. Тянешь палочку на себя — воду набираешь хоть из ведра, хоть из лужи, от себя давишь — струя бьет сильная и длинная. Особенно вверх я любил ее пускать и всегда укол сожаления чувствовал, когда она обрывалась. Какая-то тайна в ней была, которую хотелось разгадать. И потом, через много лет, застывал не раз перед фонтанной вертикальной струей все с тем же ощущением ее тайны. Вот идет она вверх-вверх, такая тугая, цельная, сильная, и вдруг ломается резко в высоту, разваливаясь, раскрываясь, цветок водяной напоминая чем-то — и вниз рушится, разбитая, разорванная на куски, переставшая быть собой. Но ведь на самой верхушке цветок водяной все держится, каждый миг исчезая и рождаясь каждый миг. Все это, наверное, и зачаровывает, какая-то тут суть жизни самой есть. Исчезнуть, едва появившись, и тут же возникнуть вновь. И взрослое мое ощущение, переживание совершенно равно тому детскому, когда я из “ссыкалки” самодельной струю вверх пускал. Сердце щемит, замирает, словно не только цветок водяной в вышине исчезающе зыбок, но и твоя собственная жизнь...

УБОГИЙ Юрий Васильевич родился в 1940 году в селе Красная Поляна Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Более 20 лет работал психиатром и психотерапевтом. В “Нашем современнике” публикуется с 1978 г. Автор 12 книг прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге.

* * *

Осенняя Калужка, быстрая, витая вода переката между камней, листья, густо в ней плывущие — желтые, багряные, бурые... Они то скапливаются в узких местах кучкой, плотинкой такой зыбкой, то, прорвавшись, плывут-летят веером. Движение воды и листьев и разнообразно, но и монотонно тоже. То одно замечаешь, то другое, а то вдруг это сливается, не различить. И с шумом-плеском воды так — и слитный он, и затягивающе пестрый, дробный бесконечно...

Сажу на камне в неудобной позе, которую почему-то не хочется менять, и смотрю-смотрю на воду и листья. И вдруг неуловимо ускользаю от самого себя, исчезаю совершенно. Очнувшись, не могу понять, как долго меня не было. Секунду, минуту, час? И где я в это время был? Смотрю на часы — все там же, примерно, стрелки, оборачиваюсь, вижу маленького своего сына и жену — и они там же, где стояли, и даже в позах чуть ли не прежних. Секунды, значит, и прошли или одно лишь мгновение. Так откуда ж чувство очевидное, что я ушел из самого себя надолго-надолго, на вечность целую? И куда ушел? А вот в нее и ушел, в вечность, словно бы говорит мне кто-то. Ушел и вернулся с ее привкусом на губах. Он еще, этот привкус, в воспоминаниях есть. Кажется порой даже, что вот ты когда-нибудь из этого мира навсегда уйдешь, а воспоминания твои останутся каким-то чудом. Потому что к вечности они поближе, к ней как-то прикреплены. Вот этими, может, проколами из мгновения в вечность, один из которых мне и вспомнился сейчас. Больше всего проколов этих в начале и в конце жизни бывает, потому что в эту пору человек ближе к вечности и стоит.

* * *

Вскоре после войны гостили с матушкой в Пятигорске, у родных моего погибшего отца. Долго гостили, не меньше месяца. Вот тогда я, восьмилетний, заметил, что отношения между хозяевами и нами, гостями, начали теплеть перед нашим отъездом. Были они и до этого достаточно теплы, но все-таки усталость взаимная друг от друга давала себя знать, а потом и раздражение подавляемое. В последние же дни все стало теплеть и теплеть, напоминая дни первые. А в день отъезда уже и до нежностей дело дошло — то бабушка приобнимет неожиданно, то сестра, то дядя. И я, сам удивляясь, не отстранялся, не ершился, как при приезде. А на вокзале, на перроне особенно, совсем уж разгул нежностей пошел с обеих сторон.

Много раз потом пришлось нечто похожее переживать и гостем будучи, и хозяином. Вспомнилось все это вдруг, да и подумалось — оно ведь и по отношению ко всей жизни примерно так. Чем ближе уход, тем она дороже и милей. И сетовать на нее, и раздражаться-злиться уже и нельзя, не по карману такая роскошь. Время вокзала наступило исподволь, и тут одно только не ясно — в зале ожидания ты сидишь еще или уже на перроне стоишь с узелком в руках...

* * *

Находясь неизбежно внутри настоящего, сиюминутного, человек летит стремительно по жизни, и многое мелькает мимо, плохо различаемое, смазанное, не позволяющее толком себя разглядеть. И лишь потом, вспоминая, можно этот полет притормозить и даже остановить. И порассматривать внимательно все вокруг и внутри себя. В этом именно и смысл, и ценность, и интерес воспоминаний — увидеть подробно и, может быть, понять, что же это такое было, твоя жизнь? Вот вторая жизнь, сопутствующая первой, реальной, и получается и кажется иногда даже, что она весомее, внятнее, важнее первой. И доля этой жизни с возрастом все растет, невольно смещаясь к молодости и детству. Прямо по Пушкину: “Невидимо склоняясь и хладея, мы движемся к началу своему”.

Разговаривал как-то наедине со старым другом перед самой у него операцией. Серьезной, с общим наркозом, и потому опасной, да еще в его, весь-

ма почтенном, возрасте. И он, человек очень высокой социальной активности и публичной деятельности, имевший позади сложную, богатую, полную трудов и превратностей судьбы жизнь, говорил лишь о своем детстве, попавшем на годы войны. С азартом, подробностями, именами друзей-приятелей, затеях рискованных. Например, о том, как камеры из колес американских “студебеккеров” добывали однажды ночью и огорчились тем, что они оказались красными. Цвет ценность их существенно снижал — галоши клеили из этих камер... А у Твардовского лежит солдат ничком под артобстрелом, вот-вот конец: “Ты прижал к вискам ладони, ты забыл, забыл, забыл, как траву щипали кони, что в ночное ты водил”. В том смысле, конечно, что если уж это забыл, то об остальном и говорить нечего...

* * *

Узнал, что древесное гнилье, гнилушки, или, как у нас на Курщине говорили, курушки, светятся в темноте. Вот и сижу в углу, с головой тряпьем каким-то накрывшись, держу эти курушки и напряженно, не видя их, а лишь в руках чувствуя, в темноту всматриваюсь. И понемногу видеть начинаю туманное, размазанное, светящееся пятнышко — одно, второе... Их все больше, и все они яснее, и я слово бы лечу с непонятным восторгом и легким даже страхом туда-туда, в их таинственную глубину...

А вспомнились они, гнилушки-курушки эти, во время байдарочного похода по Угре, вечером темным, звездным, когда я увидел на крутом береговом склоне россыпь светлячков. Светились реденько, чуть голубовато, а над головой звезды светились, и как-то они повторяли друг друга — только одни были на земле, а другие на небе. Но ведь и во мне самом в этот момент воспоминания все двоилось — и там, в деревне своей давней и дальней, я был, летел в глубину гнилушек светящихся, и здесь, под небом звездным, перед россыпью светлячков, которые словно отражением звезд на земле казались.

Да они и всегда, воспоминания, чувство двойственности приносят — и тогдашний ты, но и теперешний, и между вами, такими разными и такими вдруг одинаковыми, мгновенный, соединяющий прокол-стежок...

* * *

Есть места, виды в природе, которые зачаровывают — остановишься, смотришь, смотришь и не можешь оторваться. Помню в студенчестве городишко районный Кантемировку, улочки его затрапезные и дворик, освещенный заходящим солнцем: тропинка наискосок, телега с бочкой на ней, травка вокруг мелкая, очень зеленая, домик с крылечком низеньким, кривеньким... Долго стоял, смотрел, уйти никак не мог. Что-то тут было совсем особенное, вот именно, что м о е. А много лет спустя случилась дорога на почту из дома через овраг — опять тропинка, склон оврага с осыпью небольшой песчаной, репейник, татарник, клеверок и похилившийся над всем этим серый, раздрызганный забор. Часто тут ходил и почти всегда приостанавливался, тоже м о е было место с гармонией какой-то особенной, душе близкой. Век бы, казалось, стоял и смотрел. И с лицами человеческими что-то похожее бывает — смотришь и не оторваться. Вот бы и жизнь среди подобного набора мест и лиц прожить, да не выходит как-то...

* * *

При полном отсутствии способностей к рисованию, помню дикий азарт, с которым встретил первую в жизни коробку цветных карандашей. Малевал — за уши не оттащить. И чувство было при этом небывалое, поразительное — восторга, полета какого-то до замирания сердца. А это, наверное, переживание творчества было, первый, так сказать, творческий акт. Вот чистый лист, а вот уже и дерево на нем растопыренное, а под ним луг зеленый, а за ним речка синяя, а на самом верху солнца красное с лучами длинными. Творение мира! С таким же чувством, возможно, наскальные изображения

первобытными людьми создавались. И еще помню хорошо недоумение от белого карандаша, которым “забелить”, уничтожить то есть, уже нарисованное можно было. Что-то таинственное даже в этом чудилось, похожее на таинственность нуля. Ведь цифра, а в ней ничего...

* * *

Есть вещи, в которых чувствуется что-то предельное, конечное — песок, дым... Дым пожарниц войны, и дым из трубы родного дома, и дымок садового или рыбацкого костра. Какая разница громадная, а все — дым. И жизнь человеческая у Тютчева — дым. Или даже “тьень, бегущая от дыма”. Бренности предел. Есть он, предел, и в выражении силы любви. У Мачадо, испанского поэта: “Я буду прах, но прах влюбленный”.

* * *

Есть космогоническая теория о том, что вселенная произошла в результате “большого взрыва” из “ничего”, а кончится она “черной дырой”, в которую и провалится. То есть “ничем”. Когда узнал, то вспомнился старик из рассказа Хемингуэя “Там, где чисто и светло”, который сидел в кафе хмельной и бормотал время от времени: “Ничто и только ничто”. Вот связь души человеческой с самыми важными событиями во вселенной, угадывание хода их, потому что человек тоже космос, микрокосм. Казалось бы, “ничто” — это должно удалять от Бога, от веры, а для меня как раз наоборот. Бог все создал, Бог все и уничтожит. И начнет сначала.

У Мандельштама есть строчка: “Художник нам изобразил глубокий обморок сирени”. И впрямь чувствуется обморочное что-то в сирени Врубеля, Ван Гога и во многих других сиренях, не только картинных, но и живых. Вот и физики назвали одно из состояний материи “обмороком”. Опять совпадение удивительное. Какая разница между материальным и духовным, но и какая близость!

* * *

Есть у Твардовского описание крика молодых петушков — в нем и “надрыв цыплячий”, и “детский плач”, и “удаль лихая”, и “сдавленная печаль”, и “хрипотца истовая”. Как много всего и как снайперски точно, а всего-то петушиный крик. Соловиное пение куда как сложнее, музыкальнее, но вот этого соответствия судьбе человеческой, отмеченной Твардовским в пении петушином, как-то и нет. Поэта, может, не нашлось, чтобы это услышать и в слове выразить...

Любопытно соотношение пения и внешнего вида. У взрослого, зрелого петуха совпадение полное: бравый молодец во всех смыслах. А соловей уж такой маленький, уж такой серенький, невидимкою в кустах ютящийся! Поет же как могучий красавец с высоты, со сцены — не для кустов, зарослей своих, а для мира всего. Есть этому и противоположность — цесарки. Вид такой трогательно-милый, женственный даже, на голове что-то корону напоминающее, а пенье, как напильником по железу, с монотонностью бесконечной...

* * *

Повальное в теперешнее, “новое” время увлечение камнями — тащат их на дачи, а то и самосвалами везут, раскладывают потом затейливо. Помню, я камень большой, мне тогда по пояс, под тимской горой лежавший, любил, сам того не понимая. Подходил часто, трогал, похлопывал, сидел на нем. Что в этих камнях? Красота? Возможно, но не это главное. Главное покой, который и человеку как-то передается. Смотришь на какой-нибудь валунчик сиренево-розовый, который лежит себе, неизменный всегда, и ничего ему не надо. И не подумаешь, а почувствуешь — вот бы и тебе так. Странное чувство с привкусом покоя вечного... А к камням теперь особенно потянулись,

возможно, из-за суетности страшной, из- за напряжения тяжкого и часто пустого. Как к лекарству...

* * *

Говорят про самых известных людей: человек — легенда. То есть к правде о нем много придуманного примешано. И самого, скорей всего, яркого. Любопытно, что и со знаменитыми драгоценными камнями нечто похожее бывает. Легендарность некая с похищениями и убийствами. И реальными, и придуманными. А нет такой легенды, то не быть скорей всего камню знаменитым, и даже цена его будет намного меньше. Чувствуется в этом что-то и трогательное и одновременно жалкое. Накручивание на прекрасное творение природы человеческих страстей. Футляр такой греховный.

Самые милые камни сердолик и янтарь, капли солнца на землю упавшие. Кстати, перстень — талисман, подаренный Пушкину Елизаветой Воронцовой, был с сердоликом. И не только сам камень хорош, но и название его тоже.

* * *

Жирнющий кот на лавочке сквера рядом со старушкой. Он сидит с видом ожидания, а она достает что-то из сумки. Он лакает долго с двумя перерывами-отдыхами. Потом что-то ест, тоже с отдыхом. После всего этого они сидят довольно долго парочкой такой дружной, и она шею ему снизу оглаживает. Потом она уходит с трудом, на костыль опираясь, и садится на другую, далекую лавочку. Кот смотрит вслед и в конце концов перебегает к ней. И опять они сидят и сидят рядом. Такое вот свидание, пожалуй, что и любовное. И богословские споры о том, будут ли животные, любимые человеком, с ним в раю, в это время не кажутся мне странными и даже смешными. Может и будут. Ведь тут любовь, самое для Бога и человека главное. Бердяев где-то пишет о предсмертном крике своего любимого кота Мура и своей тогда мысли, что они еще встретятся...

* * *

Когда видишь красоту земную, то чувствуешь и веришь, что это не может возникнуть и существовать просто так, само по себе, без Творца. Сердце об этом говорит вполне уверенно. А еще и в человеческой жизни бывают такие моменты пронзительно прекрасные, что и о них думается — никак они не случайное стечение обстоятельств, были, да и прошли, — а высшей какой-то силой посланы-подарены. И исчезают не бесследно, а где-то остаются в мире, в копилке некой таинственной. А что в них, моментах этих? Радость, чувство приобщенности к высокому и вечному. К божественному. И случается такое иногда среди самой-самой бытовухи. Вспоминаю очередь в овощном магазине, покупку картошки и вдруг трогание осторожное за рукав. Оглянулся — старушка древняя, согбенная картофелину протягивает со словами: “Батюшка, уронили”. Смотрит ласково и кротко снизу, глаза цвета небесного, поблекшего за долгую жизнь...

* * *

Услышал поговорку: “Крестов много, а почета нет” и никак не мог понять, что тут в виду имеется. Оказалось — лапти. Плели их крестом. Какая великая прямо-таки была вещь, лапти, и встречались они в первые послевоенные годы не так уж и редко, в наших, курских, краях во всяком случае. Плели их у нас из пеньковых веревок, и носились они довольно долго, не то, что лыковые на Севере. А в семидесятых годах появились вдруг они в магазинах и на рынках, как вещь декоративная, на стены их вешали любители русской старины. Потом понемногу исчезли, а жаль. Они не то, что вешанья на гвоздь, они памятника достойны, как и ватник, и кирзачи. Может,

где-то и поставят, догадаются. А пока у нас здоровенный мешок в самом центре города поставили, как памятник. То ли с золотом мешок этот, то ли с деньгами, не понять. И толкуются люди вокруг него, трогают, трут, богатство приманить к себе пытаются. Такое вот идолопоклонство новейшее. Идол деньги, а банки храмы для них. И уходит это к временам Моисея, к золотому тельцу. Замкнулся круг...

* * *

Велосипед одно из чудес детства. Было их у нас в Тиму среди пацанов моего, примерно, возраста три — у сына главврача больницы Вовки Пеарунского, у Шурика Хорошилова и у моего дружка Генки. Ездить я научился на Генкином, быстро сообразив, что рулить надо в ту сторону, куда ушасть тянет. Такая была смесь восторга с недоверчивостью — еду!

Когда велосипед появился, наконец, и у меня, то я даже засыпал в первые дни с трудом, все думал, как-то он там, в коридорчике стоит-поживает? И ухаживал за ним поначалу тщательно до смешного, даже шины вечерами мыл.

Есть в велосипеде нечто таинственное, сверхбытовое. Свобода такая особенная, что-то даже от крыльев, вечной человеческой мечты. И не случайно так любил велосипед Набоков и так чудесно и многократно описывал. Что-то общее тут есть с его любовью к бабочкам и даже к шахматам. Та же свобода. Полета велосипедиста, полета бабочки, полета чистой мысли в шахматной игре.

И Толстой полюбил велосипед на старости уже лет и сам этому удивлялся. Записал в дневнике: “Увлёкся велосипедом. Странно”. Памятников Циолковскому в Калуге два — на одном, большом, он ракеты рукой касается, а на другом стоит на мостовой, держа велосипед “Дукс”, и в небо смотрит. А буквально рядом с великим ученым и, одновременно, бедным, обремененным многодетной семьей учителем этот самый денежный мешок. И смешно, и грустно...

* * *

Из всех месяцев года самое сложное, особенное чувство август вызывает. В нем и надежность устоявшейся погоды, и роскошь природы в полной своей силе, и изобилие плодов земных, и, одновременно, светлая печаль сбывшейся надежды, цели достигнутой. Печаль достижения, да. Словно поднимался ты неторопливо и упорно на некую вершину, достиг ее и впереди уже только спуск...

* * *

Лет до тридцати, пожалуй, казалось, что я всю прошлую свою жизнь помню, а уж самое в ней существенное всегда при желании вспомнить могу явственно, в деталях. Я и делал это время от времени, как бы смотр, проверку некую жизни делал — вся ли она со мной? И убеждался — кажется, вся. А потом понемногу выпадения стали случаться, пустоты, путаница невнятная. Словно нес я жизнь, держа ее в охалке, и вдруг падать из нее кое-что стало в непроглядную тьму. А держать и проверять целостность ноши своей продолжал и продолжаю, несмотря на все большие потери. И правильно! Неси, если даже ноша оскудеет в самом-самом конце до нескольких всего картинок из детства. Неси и потери терпи, как неизбежность...

* * *

Есть у позднего Толстого удивительная запись. Не дословно, но по смыслу так: вдруг хорошо подумалось о прелести зарождающейся любви, это как возникновение лунного света на скамье, вот еще нет его, а вот уже есть. Именно, что тут скачок какой-то качественный, словно быстрое, едва уловимое закипание воды. И в романах Толстого возникновение любви у героев тоже трудно уловимо, если даже по тексту внимательно следить. Вот нет еще, а вот уже и есть. Да оно и в жизни так, если и не всегда, то очень часто. Люди вдруг узнают друг друга: по облику, схваченному мгновенно,

по глазам, по запаху... Недаром о любви с первого взгляда говорится и пишется. Да она, может, и всегда с первого, влюбленность во всяком случае. Так же быстро узнается и невозможность влюбленности-любви: нет, не то, хотя все нормально вроде бы и даже хорошо.

А к родине любовь? Если к “большой”, к стране, народу, к языку и культуре, то это с возрастом возникает постепенно, а если к “малой”, к своему родовому месту, то с молоком матери, с первых впечатлений, с первого, в сущности, взгляда. Тесноту ли уютную леса полюбил, простор ли степи, реку, море... Нарезка такая в душе первая, которая и остается на всю жизнь.

* * *

Попалась случайно книга, дневник врача Калужской психиатрической больницы, который он вел во время войны. Особенно подробно написано о двух месяцах оккупации Калуги немцами. Житейская, рабочая конкретика без посягательства на художественность. Просто, ясно, точно и поэтому хорошо. Писал человек, наверное, чтобы самого себя как-то писанием этим поддержать-укрепить, а через семьдесят (!) лет записи его, в ученических тетрадках сделанные, вышли книгой, отлично к тому же изданной. Как было тетрадкам этим уцелеть, да еще и изданными быть?! Вот уж вспомнишь Булгакова: “Рукописи не горят”.

* * *

От лжи человека удерживает нечто очень глубокое. Страх разрушить самого себя, границы своего “я” размыть, перестать понимать, кто ты и какой ты на самом деле. Стремление спасти себя, в конце концов. Зато умеющий часто и ловко лгать приспосабливается к жизни лучше, так, вроде бы. Да, но лишь по социально-бытовым, внешним обстоятельствам, а душе своей вредит непоправимо.

Дьявол много прозвищ имеет и одно из них “отец лжи”. Потому что ложь не просто грех, но отдаление от веры. Сказано Христом: “Я есть путь, истина и жизнь”. А ложь именно отказ, отход от этого к дьяволу. Важно различать, и душа различает, ложь и вранье. Вранье — это нечто поверхностное, игровое, суть души не затрагивающее. Как Василий Теркин говорил: “Я, бывало, врал для смеха, никогда не врал для лжи”. Да и Хлестаков, пожалуй, не лгал, а врал. Такой поэт вранья, который и сам в него начинал верить. Сюда же относятся и детское вранье, с фантазией перемешанное.

* * *

Как-то в разговоре услышал, что у истинно верующего человека в глазах радость должна быть. Вполне понимаю, нутром правду этого чувствую. Нашел такой человек самое главное в жизни и обрадовался — уже навсегда. А если у человека хронически злые глаза, то вера его весьма сомнительна, пусть он даже все обряды церковные неукоснительно выполняет и в церкви каждый день.

Бог, вера в него — причал для человека необходимый, и хорошо тому, кто наконец-то причалил. Без этого сиротство, угрюмство, тоска. Вот именно — Богооставленность.

* * *

Удивительно действует природа — погода самой поздней осени, предзимья. Три-четыре краски всего и есть — серая, черная, бурая, коричневая с зеленой. И графика деревьев, и небо у самой земли. Хорошо, спокойно очень все вокруг в эту пору видеть. Вся игра сыграна, и вот в этом-то и покой. Но и надежда на самом дне души все-таки теплится на что-то совсем иное, новое. На весну, на детей и внуков, на новый виток, пусть уже и без тебя...

Хорошо, что пустили в этот мир: видеть, слышать, думать, чувствовать. Любить. Испытывать постоянно некую теплоту самобытия. А плохое, ненавистное, ужасное? Что ж, и это. В конечном же счете перевес хорошего, радостного над плохим, мучительным для меня лично совершенно очевиден. Решительный перевес. Да и за плохое вполне можно и нужно Бога и судьбу благодарить, потому что тогда бы хорошего не понимал и не ценил. Без теней картину не напишешь, все свет зальет, объемность мира исчезнет. Будет уже не жизнь человеческая, а нечто райское, неземное...

* * *

Толстой, по дневникам это видно, понимал возрастные изменения (болезни, убыль сил, ослабление памяти и т. д.) не как естественный биологический процесс, а как путь, по которому Бог ведет и его и каждого человека. И ведет в конечном счете к благу. Ко все большему растворению личности в других людях, вообще в мире, к уменьшению “самости” и увеличению любви. Много раз, страдая в болезни физически, радовался ей душевно — духовно, как чему-то, приближающему человека к Богу, к миру иному, Божественному. И насколько такое отношение к болезням, вообще к старению благотворно и душеполезно! Получается не набор неприятностей и несчастий, а некая, определенная свыше, дорога. Переход из этого падшего мира в мир иной, в царство Божие. Много раз такое встречается в толстовских дневниках: и в рассуждениях напряженно-глубоких и в словечках бытовых: “Готовлюсь к переезду”. А когда едва не умер, то записал с некоторым даже разочарованием, что переезжал-переезжал на ту сторону, а вывезли опять на эту.

* * *

Чувство благодарности за то, что живешь на свете, есть один из главных и верных признаков веры. Не к материи же с вечным ее коловращением, из которого ты случайно произошел, благодарность? К Богу только, Отцу и Творцу, благодарность может быть обращена. Именно к такому, с которым у тебя существует личная связь, и это-то и есть в христианстве. Бог всеблагой благое тебе всегда посылает, даже если это переживается тяжело и мучительно. Если же такого ты увидеть и уразуметь не можешь, то помни: “Пути мои выше путей ваших и мысли мои выше мыслей ваших”. Вот в этой-то высоте и существует смысл, тебе пока невидимый и непонятный.

Даже в житейских, межличностных отношениях неблагодарность есть признак неверия. Через некоего конкретного человека тебе благо дано, а ты толком и внимания не обратил, и забыл тут же. А ведь это благо происхождения Божественного в конечном-то счете...

Даже к вещам, служившим тебе многие годы, бывает чувство благодарности за верную службу. К столу, например, вот к этому письменному, который у меня чуть ли не всю, кажется, жизнь. Столешница из единой доски, и удивляешься толщине дерева, из которого ее выпилили. Лак стерся во многих местах, особенно там, где руки при работе прилегают, и фактура древесины ясно видна. И как-то она мила, душу греет... Носил все девяностые годы рабочие ботинки сталеварские. Тяжеленные такие, несокрушимые, к которым был благодарно привязан. Идешь по любой дороге, как на бездорожье едешь. Лопнула в конце концов кожа на носке одного ботинка, а под ней белая жесь. Вот и тайна тяжести их прояснилась очень просто: чтобы капля металла до живой ноги не достала, жесь нужна...

Если все в мире создано Богом, то ведь и вещи, человеком сделанные, тоже в конечном счете Его творенья. У Пастернака есть об этом как раз: “О господи, как совершенны дела твои, — думал больной, — постели, и люди, и стены, ночь смерти и город ночной”. Когда чувствуешь так, то вопрос о смысле жизни теряет остроту и насущность — ответ на него в этом чувстве уже есть.

Часто содержание, суть меняет восприятие формы, внешности. Если, к примеру, книга очень хороша, то очевидные недостатки издательские — плохая печать, плохая бумага, обложка — не то, что перестают восприниматься негативно, но едва ли не в достоинства превращаются чудесным каким-то образом. И, кажется, что именно такой она и должна быть, книга, именно такой. А если вдруг эту же книгу в другом, качественном вполне, издании в руки возьмешь, то даже некое странное, мгновенное разочарование испытает. Померещится, что это подделка.

С людьми же перевертыши настоящие бывают. Некрасив явно человек, уродлив почти, но если хорош по душе и близок, то и внешность его, непостижимо как-то, на приятную, милую словно бы переделывается. Ну, и наоборот, конечно, бывает. И в этом случае даже особенное раздражение, оскорбленность почти испытает — стоило ли такую роскошь телесную на ничтожную душонку тратить...

Иногда видишь во сне человека не в его внешности, а в глубинной душевной сути и именно поэтому знаешь уверенно, что это именно он. Оценка же его сути во сне иногда сильно не совпадает с оценкой обычной, наяву. Далекий, чужой человек во сне вдруг ощущается, как родной и близкий, и наоборот. Когда же, проснувшись, подумаешь об этом смещении, то иногда понимаешь, что есть в нем глубокая, тобой раньше не осознаваемая, правда. И в дальнейших с этим человеком отношениях такая “поправка” из сна начинает на них исподволь влиять. Недаром, кстати, и зарождающаяся только, неосознанная еще любовь проявляется впервые во сне или сразу после пробуждения. Открытие вдруг делается такое. Похожее и с неприязнью, и даже с ненавистью бывает. Все покровы, прикрытия внешние, искусственные снимаются, и истина является в голой наготе своей. И как бы изменились отношения между людьми, если бы они оценивались только по этой глубинной сути. Огромная получилась бы перетасовка! Как если бы мы не словесно между собой общались, а мысли друг друга читали. Какой бы начался ералаш! До невозможности совместной жизни никого ни с кем...

Приходилось видеть редких злодеев с совершенно благообразными, ангелоподобными прямо-таки лицами. И наоборот, встречались люди с лицами угрюмо-злыми, а по душе были они нежнейшие и добрейшие. Возможно, что первые маскируют свою злую сущность, скорей всего бессознательно, а вторые, бессознательно тоже, прикрывают, защищают свою ранимость и доброту. Это крайние варианты, а между ними огромное число переходов и оттенков.

Посмотрел недавно полуторачасовой документальный фильм “Шахта №8”. Середина девяностых годов прошлого века, маленький шахтерский поселок у закрывшейся из-за нерентабельности шахты. Люди разъехались, а оставшиеся добывают уголь на продажу кустарно, дико, докапываясь, кто как может, до очень поверхностного здесь угольного пласта. Называется это — “иметь дырку”. В “дырках” весь поселок — и во дворах они, и на улицах, и за поселком, в поле, в лесу.

Главный герой фильма пятнадцатилетний паренек — крепкий, улыбчивый, добродушный, спокойный. Он и работает в одной из этих “дырок”, кормит этим и себя и двух сестер, восьми и восемнадцати лет. Живут они в своем домике втроем. Отец недавно умер от “наркоты”, мать-алкоголичка обитает где-то неподалеку с дружком. Ее, кстати, так и не показали.

Ужасная, если судить по обстоятельствам, у паренька и его сестренки жизнь. Но ведь нет! Дружно живут, а порой и весело, с любовью и заботой друг о друге. Работа у паренька тяжелейшая, конечно, но и ее он делает как-то уверенно, спокойно, по принципу — надо, значит, надо. И такой свет идет от него и сестренки поразительный! И даже от “дырки”, в которой паренек вырубает уголь огромным каким-то зубилом. Мерещится порой, что прямо-

таки видишь его, этот свет, физически, в буквальном смысле. По слову апостола: “И свет во тьме светит, и тьма не объяла его”. Но если уж из “дырки” этот свет, то где же тьма? А тьма в самом ярко освещенном в наши дни месте — на эстраде, где вопят, прыгают, дергаются и кривляются так называемые “исполнители”. Исполнители дьявольской какой-то воли...

* * *

Стоим с дружкой Женькой Савинковым, и мимо девчонка наша, школьная проходит в юбке клетчатой, курточке спортивной с белыми узенькими полосками. Волосы у нее какие-то полосатые, пестрые — то посветлей, то потемней, лицо потупленное, с румянцем темным, смущенное чуть. Покосился на Женьку вопросительно. “Ирка Попова, — говорит. — Из 8-го “В”.

...Проводил только что Ирину на работу и прикинул — пятьдесят семь лет назад встреча та была. А сегодня день свадьбы золотой, и розы белые уже на столе стоят. Сказочное что-то во всем этом сквозит, будто не со мной, не с нами и было. А самое удивительное, что та Ирка Попова с пестрыми волосами не только не забывается, но с годами проступает все явственнее в теперешней моей Ирине. Да и не только в ней — вся жизнь прошедшая, детство и юность особенно, все ясней и настойчивей протискиваются прямо-таки сквозь реальность настоящего. Выходит, что утренняя заря начала жизни встречается с вечерней зарей ее окончания. И есть в этом что-то чудесное, волшебное — от Бога, от тайны, от судьбы. То ли награда, то ли утешение...

* * *

С удовлетворением вижу сближение цен на апельсины-мандарины с картошкой. А не так и давно такое представлялось совершенно немислимым: какая-то картошка, среди которой мы буквально жили (и на огороде она, и в погребе, и в доме, и на столе ежедневно), и такой заморский, райский, сказочный фрукт. Громадная разница, а вот сошлись же почти хотя бы в цене. И с хлебом нечто похожее, и подорожание его не вызывает у меня протеста, словно ему по значению, по чину должное наконец-то воздается. Хлеб! Хлеб наш насущный... На нем одном, черном именно, жить можно, а попробуй-ка на апельсинах-мандаринах поживи! Кстати, покупают их отчасти из-за цвета, очень уж приятного, праздничного, как и ананасы за форму редкостную, экзотическую...

* * *

Перечитал “Неупиваемую Чашу” Ивана Шмелева с новым восторгом. Чудо! А потом узнал, что его прозой восхищались Томас Манн и Радьярд Киплинг. Удивительно. На разных полосках, кажется, они стоят, особенно с Киплингом, а вот сошлись же. Пример, как именно крайности вдруг и сходятся.

“Чаша” писалась в Крыму, в восемнадцатом году, в голоде и холоде, при свечном огарке. И писал ее Шмелев для спасения души от последнего отчаяния, как за спасательный круг за эту работу держался. Получилось по стилю коряво и криво как-то, но он, скорей всего, не стал править повесть перед публикацией уже в Париже, оставил так, как написалось. И правильно сделал — в этой непосредственности корявой текста такая жизнь, такое чудо!

* * *

Часто лежал в детстве на траве, на спине и в небо смотрел. И так хорошо, спокойно, безмятежно мне было. И не скучно ничуть: лежи себе да лежи и в небо потихоньку, для самого себя незаметно, улетай. А прошлым летом ехал по полю на велосипеде и вдруг подумал — почему это я такого многие десятки уже лет не делал. Зашел в траву в стороне от тропинки и лег. И почувствовал скоро — нет, не то. Коловращение какое-то мыслей из всей прожитой долгой жизни мешает. Чистоты той давней-давней, равной чисто-

те самого неба, нет. Тогда с небом душа попросту, без всякой натуги совпала, а потом перестала совпадать мало-помалу. Совпадет ли когда-нибудь снова? Перед самым уходом если, только будет тогда перед глазами не небо, а потолок скорей всего...

* * *

В размышлениях о жизни, и человеческой вообще, и собственной в частности, есть моменты равновесия, полноты некоей, вдруг найденной. И чудится — вот она, суть, тут и остановись, не иди дальше и глубже. Иначе все перекашиваться, разваливаться станет, новый пойдет цикл до новой остановки — равновесия. Так это если достигнешь его, равновесия, не останешься в хаосе непонятности. Напоминает такое погружение ученых в глубину материи: вот атом, строение его с ядром и электронами, летящими вокруг ядра. Очень хорошо и мило, устройство Солнечной системы напоминает. Вот так бы все и оставить. Но идут неизбежно дальше, а там начинается физика элементарных частиц, из которых состоит ядро и которых великое множество. А электроны вообще почти исчезают, превращаясь в волновой сгусток с неопределенным местом нахождения. Вот и делай с этим, что хочешь, новую, потерянную ясность и гармонию ищи.

Что-то похожее и с поисками Бога и веры в него происходит: то он есть для тебя очевидно, а то вдруг и нет. И вечные колебания между этими “есть” и “нет”, и общая возрастная подвижка в сторону того, что, скорей всего, есть. Именно скорей всего, а не просто — есть! Для меня, во всяком случае. Веру же абсолютную, без сомнений малейших, не представляю. Думаю, что если и бывает она, то лишь у святых. Да и то не сплошь, а с моментами колебаний внезапных и их преодоления.

* * *

Была в 90-е годы лавчонка антикварная неподалеку от дома, и я в нее иногда заходил. На удивление много было там предметов из детства и юности, совершенно для меня обыденных и вдруг в антиквариат попавших: ручки деревянные, школьные со вставкой для перьев, сами перья таких знакомых мне, “обжитых” видов, стаканы граненые, подстаканники, вилки и ложки алюминиевые, иногда даже гнутые, какими они часто в тогдешнее время и бывали. Тарелки с орнаментом знакомым, миски алюминиевые, чернильницы-непроливайки пластиковые и керамические. А еще и коврики настенные с рисунками лебедей и оленей, яркими до ядовитости. Глядя на них, вспомнил, что Пабло Неруда, поэт чилийский, лауреат нобелевский, гостивший у нас, купил вдруг на рынке подобный коврик. И на удивление спутников сказал, что тот, кто боится пошлости, обречен на холод. Глубокая, между прочим, мысль. А еще и наборы слоников, мал мала меньше, в той лавке были, в моем детстве-юности именно символом пошлости и считавшиеся. Да почему, думал, их разглядывая. Чудесные слоники, хоть покупай. Для них и им подобных штучек полочки маленькие на массивных дерматиновых диванах бывали приделаны наверху спинки. Если резко, на диване будучи, подвигаться, как при занятиях любовью, например, то они вниз порой и сыпались...

Смотрел я на все это, как на друзей старых, оттуда ведь был — из той жизни, из той страны, из той утвари... А современная утварь, конечно, сделана лучше, удобнее. Функциональнее, но душу никак не греет. Потом кому-нибудь согреет лет через пятьдесят, через тот самый срок, когда вещь антикварной начинает считаться. Но и это сомнительно, слишком быстро она, утварь, меняется, не успеешь привыкнуть и полюбить.

А в антикварных тогдашних магазинчиках, узнал случайно, часто бывали в ту пору места сходок криминальных, штабы такие бандитские. Антиквариат же прикрытием был, вроде “Рогов и копыт” из “Двенадцати стульев”, всем известным.

* * *

Попалась фотография, на которой я с автоматом на груди присягу воинскую принимаю. Под Наро-Фоминском, в лагере военном после 5-го курса мединститута. Всерьез это как-то и не воспринималось — игра, в которую взрослые люди почему-то играют. Даже неловко, стыдновато по этой причине было. Да что там наша присяга, когда и вступление в должность президентов тоже, в сущности, игра, условность. Ну, положил руку на конституцию или Библию, ну, сказал какие-то слова... Можно и забыть их тотчас. А вот клятвы в детстве бывали куда как серьезные. У нас, в стае нашей уличной, главной была: к. с. м. (кэ, сэ, мэ, так по звучанию), что означало: “клянусь смертью матери”. Вот даже написать такое нелегко, но и сказать не легче. Если же надо было особенную, дополнительную важность клятве придать, то говорилось: “землю ешь”! И ели, и я помню сухость ее острую на зубах. Вот тут-то никакой игрой и условностью не пахло...

* * *

Если прожить достаточно долго, то прошлое начинает приобретать все более сказочный оттенок. И лучше оно делается, чем в реальности было, дымкой какой-то чудесной покрываясь, и сомнения рождает — да со мной ли все это было и было ли? Может, рассказано кем-то, как сказка, и так вьедливо, до малейших подробностей, запомнилось?

Возникает это чувство все чаще, и вызывают его ситуации совершенно пустяковые. Вот надевал на днях утром штаны и, чтобы просунуть ногу в штанину, бедром к столу для устойчивости прислонился. И вдруг вспыхнуло — мальчонка на берегу пруда, штаны надевающий и прыгающий на одной ноге, чтобы вторую быстренько в штанину сунуть. Неужели тот мальчонка это я, теперешний, то же самое действие старающийся совершить? И говоришь себе с нажимом утверждения — да, тот, только способ надевания штанов другой.

Уверен почему-то, что у людей, в старости умирающих и знающих это, должно именно детство вспоминаться часто. Нечто здесь важное, принципиальное, всей жизни целиком касающееся, есть. Слово конец и начало жизни в некий круг магический свести надо. Совместить себя старика с собой ребенком и тем жизненный круг замкнуть, защелкнуть...

* * *

Лет уж сорок назад иду в морозную, ветреную, злую погоду и вдруг чувствую, что мне странно приятно, хорошо, удобно. И сообразил в конце концов, что я, впервые, может быть, в жизни при такой погоде не мерзну, не ежусь ни телом, ни душой: пальто по-настоящему теплое, на меховой цигейковой подстежке купил недавно и вот надел. Непривычное, барское какое-то чувство, будто я разбогател в одночасье и все теперь погоды морозно-злые мне нишечем. Вот и уютно так на душе стало, покойно, надежно. Или другой случай, недавний и чем-то похожий. Тоже иду, но летом, и тоже вдруг непонятное чувство удобства, комфорта неожиданного испытываю. И тут же догадываюсь — по тротуару, плиткой только что выложенному, иду, вот в чем дело. Под ноги нет необходимости смотреть, а это на нашей окраине, да и вообще во всей прошлой жизни, немалая редкость. С детства начиная, когда по великой нашей черноземной, тимской грязи пройти было, словно минное поле преодолеть. И как хорошо теперь пальто меховое иметь, и плитку под ногами! А чуть подумаешь и чего-то жаль. Того и жаль, что теперь не мерзнешь, не терпишь мороз и ветер, а потом блаженно наконец-то не согреваешься. Того, что площадь нашу тимскую преодолевать не надо, а можно пройти через нее, заасфальтированную, спокойно. Того напряжения мускульного, и ловкости телесной, и сообразительности мгновенной, куда держать и куда ногу ставить, и радости преодоленного наконец-то препятствия, когда на нее, площадь, оглядываешься, жаль. А третье в этом же, пример-

но, ряду езда на поездах, на автобусах из одного города в другой. Событие было немалое, целая маленькая жизнь с ее трудностями, горестями и радостями. Сколько очередей, сколько тревог билетных, сколько ожиданий, надежд и разочарований! Сколько, главное, людей, с которыми свела судьба то на часы, то на дни целые в вагонных купе! Сколько хороших людей, было и сколько не очень! А теперь, если хочешь, перелетел из пункта “А” в пункт “В” за три, скажем, часа, вместо двухсуточной езды на поезде — и вся недолга. Ведь и заманчиво так поступить (большинство и поступает), но и как жаль двухсуточной езды с ее томлением, чтением, разговорами, смотрением в окно, за которым земля, такая близкая, рукой подать, плывет-разворачивается. Что-то в этой смене поездов на самолет от шагреновой бальзаковской кожи есть. Какая-то важная часть жизни вырезается-выбрасывается. Пожелал — получил тут же. А между этим пустота, ничто на месте прежней, выброшенной словно бы, жизни.

* * *

Сидел утром за столом, надеясь поработать — угрюмый, вялый, сырой, тяжелый, старый. Какая уж там работа, ясно так представлялось. Вставай и другим чем-нибудь займись, житейским, простым и очевидно нужным. А что, если про себя такого вот написать — угрюмого, вялого, старого и т. д. Можно, да нельзя, потому что для такого описания, чтобы оно хорошо получилось, нужно быть собранным, ясным, бодрым, зорким, а откуда же все это взять?

Вдруг за окном в палисаднике снегирь на ветку сел, такой громадный, какого я за сорок с лишним лет наблюдений и не видывал. Царь — снегирь, со скворца величиной, примерно. Смотрю и не верю, не может же быть такого! Вздрагивает, головой поводит, с ветки на ветку перепархивает. И по свист его не слышится, а мерещится: нежно-грустный, флейтовый, слезный почти. А за другим окном заря утренняя видна была, и так она по цвету совпала с грудью снегирия, словно он в ней побыл и ею окрасился. Вот вниз прыгнул, на землю, на снег, и я встаю, на подоконник облакачиваюсь, чтобы не упустить его из вида. Нет, исчез, но кое-что во мне и оставил. Чувство чуда, только что произошедшего. И оно растет, это чувство, распространяясь совершенно произвольно на палисадник, на сад за ним, на серо-голубое, словно припотевшее с утра, небо, а потом и на комнату, на стол рабочий, на меня самого. Все есть чудо: жизнь, человек, небо, солнце, снегирь... В детстве эта чудесность мира постоянна, и потому незаметна и не осознанна. Потом слабеет, уходит почти и понемногу, проблесками краткими, начинает возвращаться к старости. И все чаще, все очевидней и настойчивей. А вот когда станет сплошным и постоянным, как в детстве, тогда, считай, что ты и нужной мудрости достиг, и времени ухода. Который тоже чудо, может быть...

* * *

Вороны в густо-синем небе кружатся вдвоем, сталкиваются почти, разлетаются и сближаются вновь. Не то купаются в небесной синеве, не то танец некий замысловатый танцуют. А называется это по-ученому: “брачные игры воронов”, первый фенологический признак весны, в январе еще. Потом, в феврале, начнутся собачьи свадьбы, а в марте кошачьи свидания с сидением долгим напротив друг друга, с перебежками с места на место, а по ночам с криками страшными. И так они сложны, раздирающе противоречивы, эти крики, словно вся суть жизни и любви в них выражена с причудливой, ошеломляющей какой-то смесью наслаждения и муки. То ли убивают, загрызают друг друга, то ли совсем наоборот. Любят, то есть. И невольно к человеческой любви крики эти начинаешь примерять и с ужасом узнаешь в ней нечто похожее. Неужели так? В сексуальной части любви так именно. Даже Гете, мудрец просветленно-уравновешенный, это отметил: “Жестокость один из главных ингредиентов любви”. Ну, уж если Гете, то можно принять и успокоиться...

Жизнь есть чудо, а внутри жизни главное чудо любовь. И как же она светла и темна одновременно! Словно бы из соединения темного, ужасного даже, через некую реакцию глубочайшую, божественно-интимную рождается вдруг свет.

Но ведь и просто свет в физическом смысле, среди которого, внутри которого мы живем, представляющийся таким единым, монолитным, легко разлагается на семь цветов спектра, а их соединение вновь дает белый свет. Есть тут что-то общее с простотой и, одновременно, сложностью любви. Так и с желаниями, и даже жестами противоположными, но в самой глубине неразрывно связанными: “взять и отдать”...

По-разному и именно противоположно говорит о любви Пушкин. Тут и “чудное мгновенье” и “болезнь души”, и ревность грозная, и самоотдача самозабвенная. А ближайший друг его Дельвиг, человек добродушно-спокойный, едва ли не превзошел Пушкина в одной из крайностей при определении любви: “Но слова страшного “люблю” не говорите ей”. И думаешь, как же мог такой человек такое слово, небывалое прямо-таки, по отношению к любви употребить? То глубина тут некая смутная, метафизическая мерещится, а то вдруг простое самое — страх покоя свой привычный, житейский потерять...

* * *

Костры детства, юности, зрелости... Много их было в начале и все меньше и меньше к концу. И тоскуешь по ним все сильнее, по огню живому, в сущности, по созерцанию огня. По пламени, такому разному, по углям, то накаленным до прозрачности, то чуть подернутым пеплом, мерно меняющим яркость, дышащим словно бы. И есть в этой тоске по огню что-то, тоску по родине напоминающее. Так оно и есть — по первой самой родине своей тоскуем. Из звездного вещества, в момент “большого взрыва” возникшего, мы созданы, из огня в сущности, вот об этом тоска и говорит. И с водой так же. Необходимо хоть время от времени, а всего лучше ежедневно, ее, текущую, бегущую, видеть, иначе тоска. Следующая она после огня родина — прародина наша, и состоим мы в основном из нее. Есть у Достоевского мысль о том, что Бог взял семена в мирах иных и перенес на Землю и с тех пор мы по той далекой своей родине тоскуем. Очень близко это к тоске по огню и воде. Тут даже и Лермонтов вспоминается: “По небу полночи ангел летел...” И принес он, ангел, душу живую, человеческую из иного мира на Землю. И томилась она, тосковала по тому миру, и “звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли”.

* * *

Хорошо помню, как в детстве на руку свою, кисть, вдруг особенное, удивленное внимание обратил — м о я рука, надо же! Порасматривал ее, покрутил перед глазами. Моя рука, да, но ведь это все-таки еще не я, часть лишь окраинная, отдаленная... А где же я главный, самый-самый я? И раздвоился как-то в усилии понять — то ли в груди, то ли в голове? Оно так и осталось, это раздвоение, настолько привычное, что его и не замечаешь никогда.

Рука, вот она, возрастом резко измененная, со следами травм, остатками мозолей. Та ли она, что и в детстве? И да, и нет. А сам я весь, с душой и телом? И тот же в стержне каком-то главном, и совсем иной.

Когда же жизнь вспоминаешь, тоже все начинает похожим образом двоиться: со мной ли все это, такое многое и разнообразное было? Со мной, да, но и с другим кем-то, очень мне близким и родным. То очень даже хорошим, то очень даже плохим.

А вся жизнь целиком, единым взглядом как-то охваченная, представляется порой не реальностью минувшей, а громадным сном. Да в восточных мудростях — философиях такой взгляд на жизнь человеческую и существует: когда живем, то видим сон, а когда умрем, то проснемся и в настоящую реальность выйдем.

Вот пишу, и вдруг мелькает в который уже раз — праздномыслие все это. Сначала смущаешься, почти виноватым себя чувствуешь, потом невольно оправдываться начинаешь — ну, и праздномыслие, ну, и что за беда? Из праздномыслия, когда древний человек время и возможность для него получил, самые главные, судьбу его определяющие, мысли, может, и возникали. Именно из свободной, произвольной игры ума и воображения. У Пушкина есть строчка: “И праздно мыслить было мне отрада”. Прочитал и как оправдание некое наконец-то получил...

* * *

Могучая, роскошная, небывалая в этом году зима по снегам глубоким, в которых все окружающее тонет и тонет бесконечно, по метелям разгонистым и вихревым, по нескончаемым снегопадам, по морозам пылким, по солнечным дням, сияющим, по вечерам, тоже сияющим то звездами, то луной. И особенно долгой кажется зима, и вот именно, что глубокой. Вот в глубине зимы и живем-поживаем, именно так. Лишь в детстве такое ощущалось — и глубина зимы, и ее, казалось, бесконечность. В этом и тяжесть, тягота некая была, но и уют тоже. Вот так все и будет, и будет идти со снегами, морозами, лыжами, коньками — и ладно, и хорошо... И древность некая в таких зимах мерещилась, и чудилось, что тогда, давно, были они еще снежней, еще морозней. А теплая зима называлась сиротской. Легче, стало быть, сиротам несчастным такую было перетерпеть-перемочь. И поговорки на разный лад вспоминаются. То “марток, наденешь трое порток”, то “февраль — цыган шубу продал”.

Лето же в детстве воспринималось, как изобилие, щедрость, роскошь природы, погоды, свободы. А теперь, в последние годы, как испытание жарой, засухой, тревогой какой-то геной, древней. Смотришь на маленькое, багровое, в сухую горячую мглу садящееся солнце, на Оку с песчаными островами от мелководья небывалого, и невольно, навязчиво слова стародавние всплывают — и глад, и мор, и трус...

* * *

Стоял у магазинного окна и, вижу, подошла дама с собачкой. Привязала собачку за деревце и вошла в магазин. Собачка маленькая, короткошерстная, а мороз за двадцать. Худо собачке, дрожит, поджимает лапы по очереди. А потом прямо-таки приплясывать начала так, словно под ней не асфальт, а раскаленная сковорода. Дама же с продавщицей, знакомой, похоже, о чем-то мирно так беседует. Подошел к ним в конце концов. “Как бы ваша собачка не околела на морозе”, — говорю даме. “Какая еще собачка? А, эта дрянь! Вам-то какое дело?!” — возмущенно и напористо отвечает. “Жалко собачку”, — говорю. “Вы себя лучше пожалейте!” — и отвернулась. Через пару минут, однако, вышла из магазина, забрала собачку и скрылась быстро. Хорошо, подумал, если у нее только эта собачка есть...

* * *

“И, может, к старости тебе настанет срок пять-шесть произнести как бы случайных строк...”. Из Георгия Адамовича. Прожил он долго, жил интересами литературы, писал о ней много, мудро и глубоко, а сам издал лишь две маленьких книжечки стихов и три (три только!) рассказа. Последний и, по моему, самый лучший, как раз в старости.

Трудно в литературе и, особенно, в среде читательской удержаться, но ведь и удается порой даже фразой единственной. “О память сердца, ты сильнее рассудка памяти печальной”. Поэта Батюшкова, Пушкина знакомого, фраза, которая до сих пор живет и будет жить. “Если хочешь быть счастливым — будь им”. Козьма Прутков, а какая тут глубина и правда! И утешительно как! Достоевский потом ту же мысль повторил-разрабатывал, только выразив ее по-своему: “Золотой век у нас в кармане”. Кажется порой,

это вспомнив: вот и стань счастливым, и даже не завтра, а прямо сейчас, золотой век из кармана достань...

* * *

Михаил Кузькин-Воронецкий, друг покойный, поэт истинный, сказал как-то, что больше всего, умирая, будет луну жалеть, которую так, может, уже не увидишь. Вот написал и подумал — а почему, собственно, вполне может быть и там луна, даже и скорей всего. Куда же ей деваться? Хотя, “новая земля, новое небо...”. Много в природе таких, вроде луны, вещей и явлений, которые покидать жалко. Идущий снег, например, вот как теперь за окном. Редкие снежинки, которые не просто падают, а выют, кружатся, в стороны и даже вверх летят. Словно не хочется им на землю ложиться, а хочется в воздухе, на воле побыть подольше. Можно бы и описать все, примерно, виды снегопадов, которые бывают. Снег крупнющий, хлопьями, в полкулака почти; снег средненормальный, “вроде пятачков” — по-есенински; снег мельчайший, сверкающий, как разноцветная пыль; снег, валом валяющийся вниз; снег, скошенный ветром и даже горизонтальный почти в сильную метель...

А ведь по экватору и вокруг не только снега, но и смены времен года нет. Странно и даже страшновато такое представить. Кажется, что тогда само время в таком однообразии остановиться должно. И живут в таких местах племена дикие в райском каком — то безвременьи, словно ни прошлого у них нет, ни будущего, а одно бесконечное настоящее. Может, поэтому они райски-дикими и остались? Ни к чему не стремятся, а живут себе поживают и все тут.

* * *

Вспоминая прошлое, всегда хочется поточнее все вспомнить, мучительно даже как-то хочется, словно в ней, точности, вся суть воспоминаний и есть. Особенно это имен-фамилий людей вспоминаемых касается. Вспомнил — и как живой человек перед тобой.

Важнейшее значение есть у имен, на судьбу человека влияет, так мне кажется. Не был бы Юрием, а был бы, скажем, Виталием или Иваном, то вся жизнь чуть по-иному сложилась бы. А может, и не чуть, а существенно, словно в имени некий код судьбы уже зашифрован.

Иногда имя не сливается с человеком и воспринимается, как табличка, на него навешенная, а некоторые спаяны с ним так, что иного и представить нельзя.

Женщины легко, а то и с удовлетворением девичью фамилию на мужчину меняют, а если наоборот — совсем другое дело. Нельзя, изменой самому себе это будет. Потому и делается это редко (хотя закон и позволяет), и мужчины особенного склада для того нужны. И ведь сколько диких, пугающих фамилий, с моей собственной начиная. Казалось бы, поменяй, простое дело, но ведь терпят, несут бремя, судьбой наложенное. Был, помнится, в хрущевские времена, отставной майор Дураков, известный каким-то новаторским методом выращивания свиней. Один чуть не тысячу выращивал, в газетах часто мелькая. Молодец майор! А ведь мог в Разумникова каково-нибудь быстренько переделаться.

А о своей фамилии Убогий что сказать? Все время до раздачи аттестатов зрелости была моя фамилия Убогих. Так я и знал, и не подозревал даже, что я Убогий. Почему так, неведомо. Может, потому, что сама собой, незаметно она чуть переделалась, смысл свой страшноватый смягчив. Одно дело Убогих, а совсем другое Убогий. Тут уж все точки над “и” поставлены, тут уж ты определен окончательно, с ног до головы — Убогий. Уродец, значит. И когда вызвали меня при вручении аттестата, и сказали Убогий, то как по голове ударили. И зал школьный зашумел удивленно и смешливо. Заглянул в аттестат — да, Убогий. Это меня ошарашило. Почувствовал вдруг ясно, что жить мне теперь будет тяжелее, чем раньше. Так и оказалось: мучительно неловко, стыдно было в той или иной ситуации новым, незнакомым

людям свою фамилию называть. Разная бывала на это реакция: удивление, насмешливость, сочувствие, жалость. Так и тянул я груз фамилии своей годы многие, никогда даже мысли не допустив о ее смене, хотя и советовали не раз. Вот именно, что изменой судьбе, в высшем каком-то смысле, такое представлялось. А еще, попроще, отцу погибшему изменой.

Помню, перед первой публикацией в толстом журнале (рассказ “Возвращение с войны” в “Неве”) получил телеграмму из Ленинграда: “Убогий фамилия или псевдоним? Ответил: “К сожалению, фамилия”. А отправив ее, пожалел, не надо было писать “к сожалению”. Впрочем, тут некий юморной подразумевался, хотя кто бы его там уловил...

В общем, не только свыкся я с годами со своей фамилией, но даже в конце-концов ее полюбил. Значительность есть в ней особенная, глубинная. А смысл уродства — юродства, что ж, и он есть, и нечего его стесняться. И всех людей он так или иначе касается, и в Евангелие об этом сказано. “Сирые и убогие”, так. В дневниках Бориса Шергина некоторые записи на молитвы истовые похожи. В одной из них и сказано: “О, человеце убогий!”

* * *

Время и место... Где оно, самое подходящее для прощания и ухода, это время и место? Лежал как-то на пригорке над прудом, на жесткой траве конца лета, той самой, казалось, по которой бегал босиком лет пятьдесят назад, видел сына взрослого внизу с удочкой, щетинку травы с голубыми цветками цикория на фоне такого же голубого неба. И небо было то же, давнее, и цикорий тот же, казалось, самый. В тот момент чувство завершенности круга и достало меня. И больно, но и как-то приятно. Пора, пора, так подумалось — ощутилось.

А вот все другое, дома сижу с внуком Димкой, приболевшим, и он вдруг начинает бегать возбужденно с криком: “Футбол в жару, футбол в жару!” Наконец догадываюсь, что это он название главы из моей, им недавно прочитанной повести “Мальчик издалека” выкрикивает. И то же, что и на пригорке над прудом, чувство возникает во мне, чувство наступившей уже поры ухода с сознанием заикленности, а, значит, некоей законченности жизни, да. А что же место? А место родина, дом родной. И в широком смысле, и в очень-очень узком. Это где уходить, а лечь куда? В нее же, в землю родную, теперь даже пальцем показать можно. Такое всегда дорогого стоило, а в нынешнюю пору великих переселений особенно. Недавно друг студенческих лет навестил, из-за океана приехал с большой грустью-тоской в глазах. И одна из ее причин, конечно, что в чужую, дальнюю — дальнюю от родной, землю лечь ему когда-нибудь придется.

Твое время и место... Ну, это когда поразмышлять об этом есть возможность. Случай ведь всегда может вмешаться и решить все мгновенно по-своему.

Шел семнадцатилетним на работу на завод в Воронеже и потом вспомнил лишь, как калитку, уходя, закрыл. Очнулся в больничной палате через несколько часов. Оказалось, товарняком был сбит и прохожими людьми подобран. Года через три, тоже в Воронеже, выпрыгнул из трамвая на полном ходу, и шедшая следом “Волга” по боку чиркнула. Вот тут хорошо все помню — солнце яркое, серый цвет машины, трамвай красный, удаляющийся. И полное спокойствие собственное в течение нескольких секунд. А потом резко, вдруг, словно в горячую воду окунули, липкую какую-то, вязкую, сил лишнюю. Похожее недавно совсем случилось, только не на трамвае я ехал, а на велосипеде. Реакция была такой же, но намного слабее. Возраст другой и жизни поэтому, видать, не так жалко. Общее же ощущение — то ли ветерком пахнуло каким-то нездешним, то ли тень некая, тоже нездешняя, промелькнула мимо. А лет пятьдесят почти назад ехал на лыжах и то же самое, в сущности, произошло, только во времени растянутое на час, примерно. Заблудился в очень сильный мороз в ранних сумерках у военного городка. Тогда главным чувством было, пожалуй, какое-то неверие в происходящее. Только что была квартира, жена и сын, свет и тепло — и вот тайга глухая кругом, бурелом, тьма густящая и жуткое несоответствие давяще-

го, жгучего мороза и легонькой одежды. Да еще и рассказ вспомнился, как нашли недавно офицера из нашей дивизии под елкой замерзшим в этом же, примерно, месте.

В полной почти темноте лыжня под ноги мне была вдруг брошена, а там и огни городка впереди забрезжили.

Случай, “мгновенное орудие провидения”, по слову Пушкина. А провидение что такое? Бог, орудие Бога? Для верующих так. А для неверующих? Судьба? А она что? Сцепление случайностей случайное? Одни вопросы, и ответ твердый и окончательный можно только в вере получить. Вот и верь, что при всех опасностях смертельных должен ты был еще и еще зачем-то на белом свете пожить. И вспомнилось толстовское: “Для приближения к Богу и увеличения любви”.

* * *

“Из обрез и жести” — стихотворная подборка Марины Улыбышевой в “Сибирских огнях”. Удивительное название! Такой за ним видится конус из сухого осадка жизни, из боли, и отваги, безжалостности к себе и беспощадной зоркости к миру. Кажется, что и читать саму подборку не надо, все ясно и так. Повторяй лишь заголовки про себя, а за ним тут же стихи встают в зябком таком тумане. Заголовок узнал со слов сына, а стихи прочитать никак случая нет. Прочитаю, конечно, а пока уверен, что они и впечатление от заголовка совпадут более или менее.

А сама Марина очень мила, женственна, привлекательна, интеллигентна. Лишь во взгляде и голосе изредка мелькает и обречь, и жечь.

Пишет она мало, публикуется редко, но ее присутствие в поэзии чувствуется постоянно. Слово она знает некую главную, голую правду о жизни и нам ее то той, то другой стороной показывает. Если читает на поэтическом вечере в очередь с другими, то при ее появлении подбираешься, напрягаешься даже внутренне — готовишься ту самую правду-матку про жизнь услышать. Про обречь и жечь.

Трагический она поэт, как бывают трагические актеры. Нелегко ее стихи и слушать, и читать, но всегда душеполезно. Чистят они душу, словно теркой жесткой, а если так, то терпи. Нам-то, читателям и слушателям, терпеть недолго, а вот каково ей со всем этим жить?

Знакомы мы четверть века и всегда рядом с ней хорошо быть. Кажется, что знает она не только правду о жизни, но и некую важную тайну о ней, и надо бы ее тоже узнать. Странное по наивности чувство, которое держится так долго! И ведь понимаешь, что если и есть тайна, то она во всех ее стихах существует — вот сам ищи и разгадывай...

Прочитал, наконец, подборку, и она вполне совпала с заголовком, как я его понимаю. Одного только в нем, заголовке, нет — громадности ее родной Сибири, в которой теряется, тонет и человек, и жечь его, и обречь...

А стихи прекрасные, даже прозу пушкинскую напоминают — нагой прямоотой высказывания. Отпечаток души непосредственный, как отпечаток пальца, который у каждого человека неповторим. И еще чувствуется в них некая, едва уловимая, неуравновешенность, делающая их, физически прямотаки, живыми. Покачиваются, дышат, живут...

Все у нее, Марины, есть — семья, дом, работа по душе, а все равно тянет от нее какой-то неизбывной, вечной бездомностью и неприкаянностью. Слово она была и до сих пор осталась странником, бродягой с котомкой за спиной, все ищущей чего-то, ей самой пока неведомого. И думаешь — вот как найдет, так и стихи писать перестанет. Это, впрочем, о многих настоящих поэтах можно сказать...

* * *

Пытаюсь во второй уже раз прочитать “Аду” Набокова. И опять вязну в многословии, фокусах литературно-филологических, в атмосфере какой-то тяжелой, душной, оранжерейной, с благовонным, но и тонко-ядовитым за-

пахом. И любовь героев, и обстоятельства житейские близки к райскому идеалу, а ощущения рая нет как нет. А вот ощущение распада, гниения медленного, пусть и блаженного, есть.

Похоже, он большую ставку на роман сделал, весь опыт свой, все мастерство редчайшее в него вложил — и не получилось. А “Лолита”, десятью годами раньше написанная и чем-то близкая “Аде”, истинный набоковский шедевр. Потому, может, что в ней жизнь живая, особенно в конце, а в “Аде” попытка создать рай для двоих, которого принципиально быть не может. Сладкая тюрьма может лишь получиться, она и получилась.

А рассказ о рае у Набокова есть, в двадцать четыре всего года написанный: “Порт”. Одинокий парень-бродяга там показан, бездомный, с пятью всего франками в кармане, которые он и отдает в конце концов случайной женщине. Вот там рай, в который веришь. И суть его, рая, в любви этого парня ко всему, что есть вокруг — к людям, природе, вещам, краскам, звукам. Да это и есть единственная возможность рая — в любви ко всему...

В оценках других писателей Набоков был очень суров и даже зол. И несправедлив чаще всего. В старости эта черта характера усилилась до нелепости, патологичности почти. Едва ли не всех подряд хулил — бранил: и Фолкнера, и Хемингуэя, и Шолохова, и Томаса Манна, и Борхеса. Крайняя необъективность и ошибочность такой оценки уже в наборе жертв его видна — не могут же писатели, таки разные, одинаково никчемными быть.

Бунин по мере старения тоже все строже и ядовитее к коллегам своим относился, удерживаясь все-таки в пределах здравого смысла. Да и понимал и, похоже, трезво оценивал эту свою особенность, написав Телешову, что он стар, сед, сух, но еще ядовит. Ядовит! А может, хотел этим сказать, что не стал еще змеей, пережившей свой яд?

Ужасна злобная старость, хотя и вполне понятна — убыль сил, сознание нарастающей беспомощности, зависть к молодым, успешным, сильным. Она же, злобность эта, и наказанием тяжким является. За то, что жизнь в чем-то важном была прожита неправильно. И это важное в конечном счете тот же недостаток любви.

* * *

В документальном фильме Герца Франка “Флесибек” долго показывает лицо трехлетнего, примерно, мальчика, смотрящего постановку в кукольном театре. Зал темный, лицо подсвечено снизу. И какая же в нем, лице детском, жизнь! Смех, слезы, восторг, ужас, замороженность, отчаяние, блаженство... И вспоминаются слова кого-то из философов — богословов: если есть человек, значит, есть и Бог. Вот и лицо мальчика в его игре чувств-выражений совершенно Божественно.

А потом лицо того же мальчика лет через тридцать (так по виду). Первенство мира по бриджу, игре карточной, и он в нем участвует. Вполне неплохое лицо, приятное даже, но от того света Божественности, который в нем был когда-то, ни малейшего нет следа. Оцепеневшее лицо, лишь глаза и складка губ напряжение внутреннее выдают. Лицо человека среднего возраста с необходимостью его “делать” и “держат”. И таким оно останется на многие годы, пока не начнет оживать, оттаивать в старости, когда нет уже нужды большой его контролировать. Вот поэтому отчасти и смотреть на детей и стариков всего интереснее, и фотографии их любят снимать.

Накрашенность женских лиц, пусть и самая искусная, всегда вызывает во мне некий глухой, полусознанный протест. Кукольное что-то появляется, а зачем мужику кукла? Пришлось недавно увидеть “телевизионную” даму в домашней обстановке. Съемка была неожиданной, и дама поэтому оказалась без подкраски. Постарела она лет на двадцать, но зато какая в лице появилась жизнь! Со всеми следами, отметинами, бременем ее. С радостью и горем. Вот на это все и отзывается душа, а не на личико крашенное.

Французская актриса Ани Жирардо не пользовалась косметикой вне работы и как же она была удивительна со своим ошеломляюще старым, изношенным и прекрасным лицом! Как бриллиант чистой воды среди стекляшек.

И еще удивительно, что она прожила-проработала у нас в Магнитогорске (!) несколько лет. Представить даже такое трудно, а ведь было! Не деньги, не карьера же ее там удерживали, а что-то поглубже и поважнее, так мне кажется. Все та же, наверное, жизнь...

* * *

Много лет назад видел кинохронику: Москва, немцы на ее пороге, раздача оружия ополченцам. Были там кадры, которые до сих пор стоят в памяти: шеренга мужиков в домашней одежде с винтовками-трехлинейками в руках. Даже стоят не по росту, а как пришлось. Показали их всех, а потом по лицам, на каждом подолгу задерживаясь, кинокамера прошла. Поразительное было впечатление: какие все похожие вместе и какие совершенно особенные по отдельности. Целый мир в каждом лице, который вот-вот, через дни немногие, исчезнет, скорей всего...

Гете писал, что один вид человеческого лица способен развеять его меланхолию. Пантеист был, а выразился совершенно по-христиански. А вот мы, христиане, в последнее время особенно, избегаем на лица друг друга смотреть. Защищаемся словно бы от них, завесу некую натренированной слепоты перед собой опускаем. И чем больше город, тем завеса эта плотней. Плохой признак, грозный даже в чем-то. Если веришь, что человек образ и подобие Божье, то и не отворачивайся от него.

Новый папа римский Франциск показал вдруг на первых выходах к людям нечто обратное: с толпой смешивается, руки пожимает, больных, беспомощно лежащих, целует. И охраны при нем нет. Дай ему Бог силу и возможность быть таким и дальше для примера и образца.

* * *

Воспоминания давние и недавние равны в самой своей сути — в возможности видеть все (и себя самого прежде всего) со стороны. В отсутствии занятости, замороченности участием в сиюминутном, настоящем. В иной, большей способности оценивать и понимать. И в некоем налете поэтичности, художественности, которая почти неизбежно присутствует в воспоминаниях. В одном том, что это не есть, а было и прошло, уже существует ностальгическая художественность. Некий как бы плач над тем, что было и прошло. Такой, кстати, и жанр в старину был: “плач”. И еще в воспоминаниях мы как бы склоняемся над всей жизнью своей, как над омутом глубоким, почти бездонным, и ждем, что же оттуда поднимется, выплывет, обозначится. И что-то выплывает, явственным становится до озноба, до яви почти. Вот-вот, кажется, реальностью станет. И никогда не знаешь, что именно всплывет и почему. Почему именно это, а не другое? Тайна.

* * *

За окном снег сейчас идет, густой, мелкий, быстрый. Вот такой же примерно за окном цеха заводского шел пятьдесят один год назад. Станок мой токарный у самого окна, и я то на деталь, яростно передо мной крутящуюся и блестящую яростно, поглядываю, то на снег за окном. И такая вдруг в душе вспыхивает радость и надежда. Зима идет-проходит, а там и весна, а там и праздники майские и поездка домой, в Тим, и встреча с Ириной... Готовясь к поездке, я вскоре и рюкзак куплю, и рубашку вискозную, синюю в белую полоску, и туфли черные, и кепку желтую, восьмиклинку, как тогда говорили, и брюки темно-синие. И такой буду во всем этом фронт! Особенно рюкзак был хорош, из толстой зеленой парусины, с ремнями тугими, толстыми, с заклепками из нержавеющей стали. Мужская вещь! Много-много лет он прослужил и цел до сих пор, висит себе где-то в сарае и годен к использованию... А снег тогдашний, законный даже цех с его шумом, запахом, освещением смешанным, электрическим и дневным, вдруг изменил. Все из тяжелого, грубого, давящего, тюремного какого-то сделалось привычным, близким, милым почти...

А через шесть лет, в вечер отъезда из Воронежа в Харьков, чтобы там на Ирине жениться, впервые заметил, что падающие снежинки тень под уличными фонарями дают. И удивился, как раньше этого не замечал, и смотрел долго. Странная такая, сложная, запутанная игра света и тени. Белье снежинки вспыхивают искристо, гаснут в полете, а внизу, на снегу притоптанном, такое шевеление, такая возня муравьиная их теней. Не то чтобы подумал, а почувствовал, предугадал связь какую-то всего этого с жизнью семейной, сложное в ней сплетение света и теней...

И еще был снег, меленький, сухонький, пустынный какой-то. Повел молодую жену (с неделю всего дома и прожили) в лесок недалеко от Тима, елочку срезать. И нож тупой кухонный, идиот, для этого захватил. Жена на дороге, чуть наезженной, осталась, а сам к леску побрел-полез, по пояс почти в снег проваливаясь. Стал елочку резать — дело дохлое. Стал ломать — не лучше. В конце концов удалось лишь ветку от елки отломить-отодрать. С ней и вернулся, криво улыбаясь: мужчина, муж, добытчик! Жена тоже улыбочкой встретила, тревожно-испуганной...

Сегодня сорок шесть лет нашей с Ириной совместной жизни. Вчера сбегал в лес, срезал полуметровую елочку (острым уже ножом), пристроил в вазу. И между той отодранной с трудом веткой и этой елочкой целая жизнь лежит. То крохотной она кажется и почти нереальной, как сон, то огромной, вырастающей при пристальном на нее взгляде почти до бесконечности.

Первое знобко и страшновато даже (была ли?), а второе некую странную надежду дает на то, что никогда она, жизнь, не исчезнет, если уже теперь так велика.

* * *

Небывалая по мощи в этом году зима. Разве что в детстве подобное бывало по морозам, снегопадам, метелям, сугробам. Но это особенные совсем, первозданные такие воспоминания-впечатления, а теперь это объективно так. Не пройти, не проехать не только в наших местах, но и во всей почти Европе. И начинаешь думать, что это уже не погодные дела, а климатические, что, может, малый ледниковый период начинается. А почему нет? Много их в прошлом было — вот и еще один...

И странно, что под слоем усталости от затянувшейся, тяжелой зимы, тревоги невольной за будущее (не свое, конечно) что-то совсем иное, противоположное в душе живет-шевелится. Желание потаенное, стыдливое даже, чтобы еще сильнее и морозы, и снегопады, и метели были. И разочарование странное, если все это идет на спад. Откуда, почему? Может, по мысли Пушкина: "Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья, бессмертья, может быть, залог"... Очень возможно. А еще, может, потому, что в условиях особенных, в чем-то экстремальных, надоевшая, скучная повседневность отодвигается, прорехи, разрывы дает и в них человеку мерещится нечто иное, интересней гораздо? Что ж, и это не исключено, но только, когда ты в безопасности относительной, а не внутри бедствия со всеми его неизбежными трудностями и муками.

Вообще, в показывании по ТВ всяческих катастроф с людскими жертвами многочисленными есть что-то аморальное, антихристианское. И не только в показывании, но и в смотреии. В чувстве, которое при этом смотрящий испытывает. Тут ведь и ужас, и сочувствие, конечно, но и некое, неизбежное почти, удовлетворение от того, что где-то там, далеко, людям очень плохо, а ты вот в кресле благополучно сидишь-посиживаешь. Уверен, что многие, если не большинство, это, пусть и полубессознательно, испытывают, иначе б не смотрели так охотно и не был бы рейтинг подобных передач высок, что и заставляет их упорно выставлять и держать на экране. Так что же, не показывать? Показывать, конечно, но как-то иначе — посдержанней, покороче, без подробностей жутких, которыми порой прямо-таки тычут в глаза. И еще привыкают люди к подобным ужасам и перестают ужасаться, как часть обыденности неизбежную их воспринимают. Что ж, случается-де такое, куда денешься? Жизнь такова. Удобно так считать, глядя со сто-

роны... Созерцание чужой беды регулярное отупляет и развращает душу неизбежно...

* * *

Помню, вскоре после пятидесяти нашло-наехало чувство, что жизнь, в сущности, прожита и пора уходить. Да такое упорное, неотвязное. Стал даже к ровесникам приблизительным приставать — думают ли они о скором неизбежном уходе и боятся ли его? Порой так прямо, в лоб, ни с того ни с чего, спрашивал: “Смерти боишься?” Уже и шарахаться от меня стали, как от зачумленного. У самого, кстати, настоящего страха и не было, а словно бы твердил кто-то на ухо: пора, пора! Казалось, что незачем больше жить, да и нечем. Потом, понемногу, это отошло, почти исчезло. И занятия многие нашлись-таки: работа, внуки, морока по выживанию в начале 90-х...

Когда же разменял восьмой десяток, то повторилось то же самое, примерно, но вопросов дурацких больше окружающим не задавал. Слишком они актуальны стали для сверстников, и задавать их было бы просто хамством. Чего спрашивать, когда и так мрут люди вокруг один за другим. Потом, понемногу, острота “наезда” этого, второго уже в жизни, смягчилась, и я понял, наконец, почему они вообще были. Потому что циклы биологические завершались. В пятьдесят у людей в основном взрослые уже дети и внуки появившееся, вот сама жизнь как бы и говорит им: все, дружок, ты свое сделал, можешь быть свободен, то есть уходить. И в семьдесят похожая картина. Время правнуков наступает и следующее напоминание, уже, пожалуй, и последнее: пора, пора... И если после первого много еще находится и дел, и интересов, и привязей к жизни, то после второго остается этого гораздо меньше. Но остается все-таки. Что-то еще доделать, чем-то еще хоть немного близким помочь. А еще и с давними-давними, “детскими” вопросами попытаться разобраться хоть напоследок: откуда, что, зачем, почему, как? Бог, жизнь, смерть, любовь... Хорошо помнится начало этих мыслей и разговоров, лет с шестнадцати начиная. Такой был азарт, пожар прямо-таки мозговой и душевный. Потом поутихло все это, практической жизнью потесненное, а теперь вновь возникло. Тоже цикл, охватывающий целую уже жизнь.

Зачем эти вопросы и поиск ответов? Потребность, только и всего. У кого ее нет, тот и не спрашивает, и не пытается ответить. И это совсем иная жизнь, как еда непосоленная. А еду, пишут порой об этом, и не надо солить, для здоровья вредно...

* * *

У всех, наверное, бывают то моменты, то полосы целые, когда жизнь представляется пустой, бессмысленной суетой, да еще и тяжелой, маятной, противной. И люди, окружающие такому взгляду, вполне соответствующий и, особенно, ты сам. Бегаем, “трясем животишками”, по выражению Розанова.

И вот в одну из таких полос, довольно уже давно, натолкнулся у Достоевского на слова: “человек есть тайна”. Не впервые скорей всего, но раньше проскакивало это, не задевая, а тут вдруг проняло-достало. И все изменило. Какая-то глубина, объемность, значительность в жизни и даже в самом себе появилась, смысл некий, пусть и неясный, но глубокий забрезжил...

Так оно и осталось, закрепилось. Обмелеет, обесцветится все в тебе самом и вокруг, вспомнишь про “тайну”, и все оживать, углубляться, краски получать начинается.

Узнав кое-что новое о современных научных взглядах на вселенную, жизнь и человека, подумал, что к слову “тайна” надо еще и слово “чудо” прибавить. Из тайны и чуда возник мир, жизнь, человек и уйдет в тайну и чудо. И вот именно при таком представлении — понимании все в тебе и вокруг оживает, можно и жить, и дышать. И спокойно, и интересно, и мило, и дорого. Будто ты из чужой стороны наконец-то домой вернулся. Может, это и есть чувство присутствия Бога в мире, веры в него? Или хотя бы приближение к этому? В каждом действии, мысли, желании вот именно, что

смысл начинает брезжить, хоть и неясный, но очевидно существующий. Словно ты раньше жил — болтался “просто так”, а теперь в руки какие-то надежные попал.

Еще и некоторые люди, пусть и очень редкие, и поступки их, и проявления души, и результаты труда творческого говорят вполне убедительно, что не может мир существовать на одной лишь материальной основе. Несомненно высшее, Божественное, не от мира сего есть.

Чувство же “тайны и чуда”, возникшее однажды и крепнущее потом, особенно к старости, было и в детстве, только не осознавалось. Все тогда виделось “тайной и чудом”, но осознать это оказывалось невозможно, потому что ты внутри этого был и жил. Тогда ты просто получил это в пору детства Божественную, а теперь к этому возвращаешься, насколько хватает сил и возможностей твоих. А если сможешь вернуться вполне, то и начнется жизнь в вере и в Боге. В его руках...

Вера же в церковном ее смысле может быть разной. Нам по рождению и обстоятельствам христианско-православная дана, и это, на мой взгляд, счастье. На главное в христианстве душа мгновенно отзывается: “Бог есть любовь”, “Заповедь новую даю вам: да любите друг друга”, “Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог”.

* * *

Когда вспоминается собственная жизнь, пусть и кусками, перепутанными по времени, случайными, произвольными совершенно, то странное при этом возникает чувство из смеси покоя, ожидания заинтересованного и легкой даже тревоги. Словно сидишь над каким-то и прозрачным и темным из-за глубины потоком жизни-времени и из него поднимается и резко, вдруг, и медленно совсем то одно, то другое, то третье... То связанное между собой, а то и вразбой, из разных совсем сторон, возрастов, ситуаций житейских... Вот пять тебе лет, а вот и семьдесят, и ничего общего между этими людьми вспоминаемыми нет, и, одновременно, один и тот же это человек, настолько один, что в существовании возраста вообще начинаешь сомневаться. И еще противоречие постоянное: воспоминание то настолько въедливо конкретно, детально до мелочей, что, кажется, вот-вот, через мгновение, реальностью станет, а то чудится, что не вспоминаешь ты собственную жизнь, а кто-то ее тебе, как сказку, рассказывает-показывает. Да, именно сказку, а не быть...

А еще ведь и мысли возникают по поводу вспоминаемого, параллельно ему идущие, или с отставанием небольшим. Так сейчас, например, вдруг подумалось, что детские воспоминания чаще всего или суровости зимы касаются, или роскоши лета. Противоположные такие состояния: зимой ты наиболее отделен от окружающего, сильнее всего самость, индивидуальность свою чувствуешь, а летом растворен в нем блаженно. И сдвоенность (или раздвоенность) порой воспоминания сопровождает — и тогдашний ты, но и теперешний и между этими двумя то согласие, то разлад. Оценка же вспоминаемого от состояния-настроения зависит и от того, что вспоминается, конечно. Какая разная она до противоположности у Пушкина. “И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и прокливаю...” Это одно, а вот “что наши лучшие желанья, что наши свежие мечтанья исчезли быстрой чередой, как листья осени гнилой” — совсем другое.

Уильям Фолкнер утверждал: “Прошлое есть”. И не в том, думается, смысле, что оно в нашей памяти есть, а в том, что оно неосязаемо, но все-таки реально, объективно каким-то образом существует. Удивительно, что современная квантовая физика нечто подобное предполагает: есть оно, прошлое, то ли в информации, в квантовом мире записанное, то ли в ином, кроме наших известных трех, измерений. Оно и непредставимо почти, оно, если все-таки допустить, принять такое, чем-то и хорошо, и приятно. Для материалистов-атеистов во всяком случае, потому что религиозные люди верят в бессмертие души и без этой гипотезы научной.

* * *

Вот Державин, верующий он человек или атеист? Если не по жизни, по фактам ее судить, а лишь по стихам? По оде “Бог” — конечно, верующий. Какая мощь, какая органичность, искренность, естественность! Какая глубина в понимании и чувствовании и Бога, и человека, в связи их неразрывной! Что-то чуть ли не от современной квантовой физики есть: “Я крайняя степень вещества”. Двести лет назад сказано!

А по последнему его стихотворению, написанному за два дня до смерти, похоже, что атеист: “А если что и остается чрез звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы”. Кажется, что Богу при таком взгляде на мироздание и места нет. Но это только кажется, а вникнешь и увидишь, что есть. За вечностью он стоит, Бог, он и ей хозяин. Да и стихотворение гениальное, что тоже является доказательством веры. Боговдохновенное оно, именно так. Да и не только гениальное, но и просто талантливое стихотворение настоящий атеист написать не может, потому что всякий талант от Бога. Сам поэт вполне может считать себя атеистом, даже Богоборцем, но если он талантлив, то все равно вера в нем живет, пусть и неосознанно. В слово поэтическое, а значит, в Слово, которое Бог. Кстати, в некоторых переводах Библии “творец” переводится как “поэт”.

* * *

Апрель на всем ходу, а снега все еще лежат великие. Лыжные палки просовываются в снег на метр, примерно, в поле и еще глубже в лесу. Хмуро, ветрено, то снежок идет, то дождик, то дождь. Ни одной проталины нигде не чернеет и прилетевшие было птицы исчезли — есть нечего. Выматывает душу такая погода и прежде всего тем, что она не по времени. Такое чувство, будто тебя обманули и продолжают на этом обмане настаивать упорно. Чувство из общего закона души человеческой — все должно вовремя приходиться. Более или менее. Любовь первая, женитьба-замужество, дети, внуки. Любовь последняя. Смерть.

Сын уехал в Среднюю Азию. Один, с такой одежкой в рюкзаке, чтобы там, переодевшись, походить на дервиша. Насколько могу судить о тамошней жизни, как бы он не затерялся среди множества таких же. Да и у нас их хватает, только называются они бомжами.

Перечитал по такому случаю среднеазиатские повести Андрея Платонова “Джан” и “Такыр”. Пустыня, то песчаная, то глинистая, то род по ней бродит, то народец крохотный. Бродят люди на грани смерти, в усилиях предельных по выживанию. Кажется, что ничего трудней и хуже быть не может, но какая при этом показана глубокая, цепкая, первичная, вот именно, что настоящая жизнь! И так она поражает по сравнению с нашей условной, призрачной, вторичной. Не настоящей, вот именно. Виртуальной какой-то.

Как слаба, хрупка жизнь людей в пустыне, вот-вот, кажется, исчезнет, словно огонек, ветром задутый, песком засыпанный. А наша теперешняя, с ее мощью научно-технической? Не человеческой как бы уже по ее возможностям, а то ли Божественной, то ли дьявольской. Обе жизни уязвимы крайне и хрупки, только первая, пустынная, по причинам внешним, силам природным, а наша по внутренним, собственным, самоубийством грозимым. То ли медленным, не очень-то и заметным даже, то ли быстрым и мучительным.

* * *

Можно очень дальнюю поездку туристическую совершить и останется она просто поездкой, а можно по незнакомому району своего же города денек побродить, на людей тамошних посмотреть, а то и поговорить с кем-то, и будет это путешествие, пусть и совсем крошечное. Вот у сына так, по-моему. То разные страны он, как турист, посещает, то по Индии, по Центральной Азии, по Крыму, по земле калужской одиноко бродит, и вот это, последнее, и есть путешествия.

Живет в нашем доме старушка древняя, которую изредка можно увидеть в ближний магазин тихо-тихо идущей. Но это для меня он ближний, а для нее очень даже дальний. Сколько на пути до него опасностей, трудностей, неожиданностей! Но ведь и интересного, нового, наверное, немало, начиная с самого магазина с его многолюдьем, товарами, очередями. А какие сборы перед выходом из дома, какая радость после возвращения благополучного! Целое путешествие получается со всеми его основными признаками.

Встретил недавно на очень скользкой, льдистой тропинке грузного старца с палкой. По походке можно было отдаленные последствия инсульта предположить, как оно потом в разговоре и оказалось. И еще оказалось, что идет он в такой, опасной явно, дорожной обстановке без всякой житейской необходимости, просто для прогулки. Когда же маршрут ее примерно объяснил, то я ушам не поверил — километра три! Ну, и выразил ему свое удивление и предостеречь его попытался, но он только рукой махнул: “Надо...” И поковылял себе дальше... Вот это поход высшей категории сложности!

* * *

Первое самое воспоминание мое — солнце, зной, дорога... И в последующих очень его много, солнца, словно оно тебе верным другом было, вечером уходящим за горизонт, до мой, и вновь приходящим утром. А теперь понимаешь, что еще и близким, кровным, так сказать, родственником, потому что из одного в конечном счете мы с ним сделаны вещества.

Если не появлялся этот друг-родственник утром, то было грустно, а если проникал до самой постели, то радостно и хотелось выбежать поскорее к нему во двор, да с ним тепло и обняться.

Особенно на речке, во время купания, родственная необходимость солнца остро ощущалась. Уйдет за тучку, мы и сидим, посиневшие, на берегу, дрожим, в небо посматриваем, возвращения солнышка ожидаем. Солнышка, так и говорилось всегда. Дождались, отогрелись блаженно — и в воду...

Три вещи, которые с собой можно было носить, ценились в ту пору больше всего — складной ножик, фонарик электрический и лупа. Первые две были понятны и по устройству, и по действию, а в лупе представлялось некое чудо и тайна. Стеклашка ведь всего-навсего, пусть и выпуклая, а повернул боком к солнцу, фокус, точку слепяще яркую, поймал — и деревяшка сухая начинала понемногу темнеть, дымиться, а там и язычок пламени бледный, едва заметный, возникал. И казалось, что это капелька солнца крошечная на деревяшку капнула через лупу. Прижигали и кожу собственную, и первое пощипывание солнечное было приятно, мгновенно превращаясь в резкую боль...

Чувство присутствия постоянного солнца, такое острое в детстве, начало нарастать и в старости. Восторга, правда, былого нет, а тихая удовлетворенность, умиротворенность и благодарность к нему есть. Как у Твардовского: “На дне моей жизни, на самом доньшке, захочется мне посидеть на солнышке, на теплом пенушке”. Вот и мне хочется посидеть, и уже сижу все чаще...

Самое величественное зрелище, которое наблюдать приходилось, осенние закаты. Особенную мощь и красочность они имеют, да еще и чувство осени усиливает впечатление от них. Совпадает в душе как-то: закат дня, закат года. А можно, возраста почтенного достигнув, добавить — и жизни закат.

У Юрия Олеши есть запись, что, если бы не существовало закатов, то судьба человечества могла бы быть иной. На первый взгляд странная мысль, но если поразмыслишь, то не такая уж и странная. Зрелище-то поразительное, божественное прямо-таки порой, и дается людям регулярно, едва ли не ежедневно. Не может оно на душу человеческую не влиять и влияет, конечно. Кого-то печалит, кого-то бодрит, но во всяком случае приподнимает над обыденностью мелкой, житейской. Не можешь ты быть ничтожеством, если такое тебе видеть дано. И не случайно в мире оказался, а по чьей-то воле высшей, которой подвластен и ты, и этот вот закат перед тобой.

Поэтов, да и вообще художников можно и по отношению к солнцу разделять. Пушкин, к примеру, очевидно “солнечный”, дневной, а Лермонтов так и нет. Ночной, пожалуй, “лунный”.

Написал о “солнечности” Пушкина и “лунности” Лермонтова и подумал, что и всех людей так же, примерно, можно разделить и это будет соответствовать экстравертам и интровертам. А еще ведь и половое соответствие такому разделению есть, “солнечность” чаще черта мужская, а “лунность” женская.

Солнце надежно, а луна таинственна и изменчива. Вот она облачко крохотное на предвечернем небе, если бы не форма, то от других крошек облаков и не отличить. А потом понемногу, незаметно для глаз, светом, силой, словно кровью живой, начинает наливаться. Есть и еще удивительное — выйдешь из дома точно в то же время, как и вчера, а луны на прежнем месте нет. И вообще нет нигде. Когда впервые такое заметил, то вспомнил народное: “Черт луну украл”.

В пору, когда нечто существенное в жизни происходит-решается, рассматривают люди на луну: что она предскажет? Цвет тут важен-то просто белая она, отстраненно-равнодушная, а то вдруг такая страшная, угрожающая, кроваво-мутная. К беде, или к твоей личной, или всеобщей. На белой луне можно и рисунок разглядеть-вообразить: то ли рожицу забавную, то ли череп человеческий — по настроению смотрящего.

Таинственность и загадочность главное для человека в луне, потому и гадают при ней и колдуют. И чувство сказочности окружающего она дает, особенно в зимнем ночном лесу, заснеженном или мощным инеем покрытом. Сомневаться начинаешь — в земном, обыденном ты мире или в каком-то ином...

Видел во время байдарочного похода по Болве затмение полное лунное и разочарован был не им даже, а своей на него реакцией. Сухо было в душе, спокойно, почти равнодушно. Задвинули полную луну черной заслонкой медленно и тут же, так же медленно, открыли, только и всего. Возраст ли роль сыграл, а может, еще и то, что люди на ней, луне, побывали. Расколдовали ее этим как-то.

Застраивают нашу окраину с ошеломляющей какой-то быстротой высокими, до неба, домами. Оно и исчезает с одной стороны, стеной дырчатой — оконной заменяясь. И сторона-то западная, в которой за десятки лет я закаты привык наблюдать. Потеря существенная и для чувства неволи и тоски причина. Раньше ходил вдоль заката, а теперь вдоль стены сплошной, высоченной...

Пришлось давненько уже пару лет в Москве прожить в условиях вполне комфортных, но что-то меня там исподволь тяготило, мучило, словно вздохнуть свободно и глубоко никак почему-то не мог. Наконец, догадался-таки о причине и был удивлен и простотой ее и, одновременно, весомостью. Неба там не было видно, а без неба жизнь тюремный какой-то оттенок получает, вот именно, что без вдоха свободного и глубокого.

Михаил Кузькин-Воронецкий, поэт и мой друг, написал: “Со мной идет моя природа, верней жены на свете нет”. Хорошо написал. А если выбрать то, что из проявлений природы приятней, важнее, прекраснее всего? Для меня небо, потом поле холмистое, потом река... Ну, а потом уж, и море, и горы. Набор, в общем-то, не очень и велик и тут очередность именно человека характеризует. Родное чаще всего на первых местах. Даже и тундра, и пустыня, приходилось слышать.

В небе значимость прежде всего душевная и зрелищная, а уж потом житейская в смысле дождя, снега, ветра, мороза или жары. Оно всегда над тобой и даже с тобой, если ничто его не заслоняет, разумеется. И бесконечно разнообразное в облаках и тучах, и вечно одинаковое почти в чистоте синевы днем и пестроте звезд ночью. И тянет туда, в него. Не просто взлететь (хотя и это), но и уйти совсем. По слову Пушкина: “Туда б, в заоблачную келью, в соседство Бога скрыться мне”.

Одно из самых ранних воспоминаний — крона осокоря огромная, листва его мелкая, тускло-зеленая с серебристым отливом, а сквозь нее то

пятнышками, то прогалами целыми плотное, накаленно-синее небо. Лежишь на спине, в него зачарованно смотришь и тянет улететь туда к чему-то непонятному, но важному, манящему, сладкому. И даже лететь начинаешь чуть-чуть, оставаясь на месте. А потом, через много лет, через жизнь целую, стоишь на берегу Калужки на мартовском снегу и видишь над собой сосны матерые с зеленой хвоей темной-темной, а сквозь нее кусками то же самое плотное, светящееся густой синевою небо. Глаз не оторвать, но чувства полета начинающегося все нет и нет...

Закливание жаворонков — тоже из воспоминаний ранних. Жаворонок, только что испеченный, на ладони, а к нему должны настоящие, живые жаворонки с неба спуститься, как к товарищу своему. Тянешь ладонь вверх, к небу поближе, а их, живых, не видно, хоть и смотришь до тумана влажного в глазах. Жаворонок так никогда и не удалось завлечь-дождаться, а вот голубей в небе случается наблюдать много уже лет. Есть две голубятни в ближней нашей округе и одна дальняя, над Окой, куда на велосипеде только ехать. Вот на дальней зрелище и бывает главное, долгое, бередящее душу.

Стая взлетает неохотно, норовит в голубятню вернуться и раз, и другой, и третий, но мужик-голубятник упорно машет шестом с белой тряпкой на конце, гонит и гонит голубей из дома в небо. Небо безоблачное, огромное, голубое и чуть серым припорошенное от зноя. Берег высокие, Ока внизу то слепящими солнечными пятнами горит, то мелкой, серебряной рябью дрожит-сверкает.

Вот голуби пошли наконец-то в небо, кругами, сначала широкими и медленными, а потом все уже, все туже до вертикального почти, столбом, взлетают. И ты за ними вслед взлетаешь словно бы, теряясь, растворяясь понемногу в солнечном небе. В детстве жаворонков с неба не удалось спустить, а вот с голубями взлететь в небо, душой одной хотя бы, вдруг и получалось. Может, потому, что голубь птица особенная, Богом отмеченная, Благоую весть нам когда-то принесшая. И думается мне, что и мужик-голубятник испытывает что-то похожее, да и не только он, но и все они, страстные любители голубей. Вот именно полет душой вместе с голубями в небо, в глубину его и высоту, к Богу поближе...

* * *

Ни на что небесное не накручено так много земного, суетного, экранного, как на звездах. Слои, кокон целый, суть их космическую закрывающий. И то у нас звезды, и это, и здесь они, и там...

Но есть и прекрасная с ними связь. У Бунина, например, в рассказе “Поздний час”. Сидел юный герой рассказа с возлюбленной своей юной и видел одинокую зеленую звезду, теплившуюся выжидательно и что-то беззвучно говорившую им. А через много лет, через жизнь целую, стоял у ее могилы и видел ту же зеленую звезду, но уже немую...

Или у Иннокентия Анненского про звезду. Или, может быть, про женщину одновременно. Как-то и непонятно, и таинственно, и волшебю: “...не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света”.

А еще и “Гори, гори моя звезда”, — романс, и даже куплеты: “С неба звездочку достану и на память подарю”. Очень мило.

Вскоре после войны ходили по рукам у ребятни жестяные звездочки с пилоток солдатских и эмалированные с офицерских фуражек. Офицерские были тяжеленькие такие, густого, темно-вишневого цвета и казались едва ли не красивей, значительней медалями и орденов. И на кладбищах над пирамидками могильными сплошные возвышались звезды фанерные и жестяные.

Была и книга “Кавалер Золотой Звезды” и фильм с таким же названием, и всегдашний после прочтения-просмотра вопрос — где же тот край, то место, где такие люди прекрасные живут прекрасной своей жизнью?

Помню, как привезли тело нашего земляка, Героя Советского Союза Черникова, чтобы на родине похоронить. Прощание с ним было в районном доме культуры, и всех гроб удивил — вот и слово не подберешь... Красотой? Роскошью? Нет, не то. Необычностью, так скажем. Помню даже, как му-

жик какой-то сказал рядом: “Я б в такой хоть сейчас лег”. Было в этом что-то и остроумно-забавное, и нехорошее, неправильное, потому, может, и запомнилось. И еще запомнилось, что мать героя была точно такая же, как и все прочие наши старушки, только в черном платке. А на подушечке красной у гроба Звезда Героя лежала...

Смотреть на звездное небо и притягательно, и интересно, и утешительно даже. Успокаивает это и при передрыгках житейских, и при горестях серьезных. Когда у Циолковского умер старый друг, то он сказал его взрослому сыну, отчасти даже и своему ученику — приходите, будем смотреть на звезды. Успокоить, утешить хоть как-то этим человека хотел и сам, может быть, утешиться. Очень даже понятно.

Летом звезды не очень замечаешь, а вот зимой они ежевечернее почти зрелище. Прекрасное и утешительное. Не по конкретному какому-нибудь поводу утешительное, а вообще, по жизни всей целиком. Посмотришь на Орион, на Гончих Псов, на обе Медведицы и поспокойней тебе станет, и полегче.

Шел на днях в ранних сумерках, остановился на нашем футбольном поле, первую звезду поискал. И нашел — и первую, и вторую, и третью... Слабенькие, едва заметные — ростки проклонувшиеся. А если полчаса подождать, то все поле небесное будет ими усеяно. И не ростками уже, а зрелыми вполне звездами... Живут они с нами, над нами, по кругу идут едва уловимо, являясь вечерами и уходя по утрам. И долго их не видя, тосковать по ним начинаешь, как по солнцу, луне, живому огню костра...

* * *

Жил я в раннем детстве в деревушке Красный Камыш — она и воспринималась, как вся моя родина. Переехал в поселок Тим и к чувству родины он прибавился. А потом, лет в восемь, поехал с дядей Мишей на велосипеде (на раме сидя) из Камыша в Тим по холмистым полям и поля эти ощутились не просто тоже родиной, но какой-то основой ее, на которой и Камыш, и Тим стоят, и село Становое, в котором мы задержались отдохнуть на высоком берегу пруда. Сидели в тени под березой, внизу огромный пруд сверкал на солнце, на другом берегу хаты виднелись — и это тоже была родина. А когда поехали дальше, то вновь потянулись поля холмистые, та самая основа, на которой все-все родное держится-стоит. И я не то, что думал, а чувствовал, что построить что хочешь можно, но стоять то оно будет все равно только на этих холмах-полях, а вот их построить нельзя, они просто есть навсегда.

Впервые заметилось и запомнилось при этой велосипедной езде чередование низин и взгорков — то суживается все до одних зеленых склонов вокруг, то расширяется до дальней, зеленой и синей, дали... Холмы — волны неподвижные, так потом всю жизнь чувствовалось. Разные очень по окраске в разную пору и разных местах — то чернота пахоты свежей, то зелень хлебов, то их же желтизна, то белесость проступающего сквозь чернозем мела, то снежная белизна мягкая или сверкающая слодянисто на солнце...

Помню солнечный день в конце лета, который мы провели с сыном, взрослым уже парнем — студентом, расхаживая по своим холмам-волнам. Такое было чувство, словно ходим не по земле, а по Земле, как планете, что она вся целиком такая, состоящая из желтой, скользко-блестящей стерни полей вокруг; огромных, редких, соломенных ометов на них; пустынного, синего с васильковым отливом неба и сильнейшего, горячего, ветра. Взобрались в конце концов на один из ометов отдохнуть-подремать, и там почудилось, что ветер вот-вот может оторвать и понести куда-то и омет, и нас заодно. И тоже не над землей, а над Землей...

Горы дают похожее, но еще более острое ощущение, и на нем, может быть, замешана и любовь к ним и страсть альпинистов на них подниматься. Но там грозность, опасность кругом, необходимость быть в напряжении, настороже, а в наших холмах такой уют, такой покой! И кормят они собой человека, как груди с сосцами млечными, надо лишь поработать, “надавить” на них...

Почти полвека живу в каких-нибудь пятистах километрах к северу от родных моих курских мест. Природа здесь изумительная и редкая по сохранности — леса и реки, реки и леса. Полюбил все здесь сильно и нежно, а все равно чуть-чуть постоянно чего-то не хватает. А вот этих самых волн-холмов, с верхушек которых видна на десятки километров синяя, призывная, душу до боли сосущая, даль. Бывает она и здесь, но иная, будто обрезанная наполовину, без сладкой той боли и тоски.

* * *

Сильная привязанность к “малой” родине отнюдь для человека не обязательна, но довольно-таки часта. Тут и Фолкнер, всю жизнь писавший “о клочке земли величиной с почтовую марку”, и Шолохов с Доном и хутором Татарским, и Маркес с селением Макондо... Мировые писатели, изображавшие, в своем главном и лучшем, все тот же “клочок земли”. А получалось человечество и весь мир. Сплошь, подряд, этого не изобразить никому и никогда, а вот в капле воды родной отразить можно.

Не исключено, что и ген любви к кровно-родному существует. У кого-то он есть, а у кого-то и нет. И им, вторым, жить, наверное, легче. Где удобно, денежно, безопасно, здорово полезно, там, можешь считать, и родина. И спорить тут не о чем, такие люди никаких возражений не примут и даже их не поймут. И будут для себя совершенно правы. А если самому таким вдруг стать? Дикое предположение, потому что тогда это уже не ты, а совсем уже другой человек будет. Беспощадно ограбленный...

* * *

Трудно, невозможно даже представить себе человека, который бы рек не любил. И не польза от них тут главное, хотя и она велика, а то, что они живые, на нас самих чем-то похожие. Всегда одни и те же и всегда разные в каждый миг. В романе Мелвилла “Моби Дик” матрос кричит капитану Ахаву: “Пекод течет, сэ!” А капитан отвечает: “Все течет, и я теку!” Вот именно. Все течет и прежде всего реки. Этим и завораживают, и влекут, и держат — не отпускают.

Много рек в жизни человеческой случается, а главных чаще всего две: река детства, конечно, и река старости. Иногда это одна и та же река и такое, по-моему, большая удача — всю жизнь при одной и той же, своей реке прожить...

У меня река детства Тим и помню я ее лет с трех: бережок зеленый, ровный, обрывчик низенький, потом вода серая, гладкая и вдруг (заметил!) текущая. Знал-то раньше стоячую воду в кружке, в ведре, в луже, а тут вот она, большая такая, вся движется, течет! Тогда, может, чувство, что река живая, впервые и шевельнулось.

Странно, что ни одного купанья в речушке этой совершенно не помню, да, может, их и не было. Купались в “копанях” рядом, ямах таких больших, длинных, оставшихся от добычи торфа. Удобней, наверное, было: вода теплей, глубина в самый раз, берег всегда рядом. А река дело неизведанное, опасное, живое, текучее. Видел потом, как туристы в приморских отелях не в море, а в бассейнах купаются, и “копани” наши вспоминал, которые нам вроде этих бассейнов и были.

Потом мы с матушкой переехали из деревни в райцентр, на той же речке стоявший, вот тут-то она и явилась во всей силе и красе с начала мая по сентябрь за годом год. Часть жизни важнейшая, не будь ее, мы бы другими людьми стали хоть немного. Думаю, что похуже. Летним утром солнечным проснешься, и радостно тебе и совершенно ясно, что делать — на речку!

Странно, что голыми мы не купались, хотя чего уж там было стесняться — своя компания и никого вокруг. Целомудрие, стыдливость какая-то была великая, уже и непонятная теперь. Помню, сидел я одиноко в ранних сумерках на берегу пруда, только что искупавшись, а к другому берегу, совершенно пустынному, трактор подъехал. Тракторист, озираясь, догола раз-

делся и побрел в воду, прикрывая “стыдное” место. Даже я удивился — кого стыдиться, если ни души вокруг? Он и после купанья так же, прикрываясь, к трактору шел...И вот теперь думаю — хороша ли такая стыдливость? Хочется ответить — конечно, хороша! Но что-то удерживает, не вполне и самому понятное. Кажется, что тут не одна стыдливость-целомудренность, но и еще что-то не очень-то уже и хорошее. Зажатость какая-то чрезмерная, тревожность и даже страх. Неопределенный страх, витавший над людьми в те далекие годы. Вдруг ты правило какое-то, тебе неведомое, нарушаешь, и придется за это отвечать. С опаской постоянной жили, и опять твердо не скажешь, плохо такое было или хорошо...

* * *

Рыбу свою первую я в речке нашей и поймал. Рыбку, конечно, плотвичку, в мою тогдашнюю ладонь величиной. И осталась она в памяти самой чудесной из всех, вообще пойманных...

Река Тим. Странновато даже и на мой привычный слух. Мужское, даже мальчишеское что-то: Тим, Тима, Тимофей. И с детством река-речка эта моя хорошо совпадает по размерам, по силам, “по плечу” как раз. У самого истока ее и собственная жизнь начиналась.

А вот Ока, у которой жизнь кончается, совсем другое дело. Тоже три буквы всего, но какая разница! Ока! Какой простор, свобода, полнота! И женственность какая, и какой-то даже оклик, призыв, обещание... И даль, и эхо, и уход, и встреча...

Большая уже она у нас в Калуге, во много-много раз Тима моего детского больше. Тоже с жизнью теперешней некое соответствие, с длиной ее, объемом, опытом. Словно это одна и та же жизнь — река, растущая от истока к устью.

Последние лет десять езжу на велосипеде к Оке очень часто, и чувствуется в этом некий знак возвращения и к велосипеду детства, и к почти ежедневной тогда летней реке. В купании, в сидении-лежании на берегу тогда и теперь есть общность в воде текущей, завораживающей, зовущей с собой, и разница в цели. Тогда словно вливался в расширяющуюся жизнь, а теперь из нее потихоньку выплываешь.

Всегда хотелось на самом-самом берегу реки жить, чтобы она и со двора, и из окон дома была видна и в любую минуту доступна. Не пришлось, а вот кладбище наше, где матушка похоронена, прямо над прекрасной и давно уж родной речкой Калужкой расположено, перед ее впадением в Оку...

* * *

Лес... Люблю, конечно, но как-то странно, с прохладцей как бы, с расстояния некоторого. С детства это повелось да так на всю жизнь и осталось, недаром он аж на четвертом месте среди самого любимого оказался.

Было у нас в Тиму три леса, больших в степи перелеска, в сущности. Тимской, Липовый и Шеламовский. Первый, самый близкий и самый посещаемый, километрах в трех находился, и идти к нему надо было через село Выгорное, примыкавшее почти вплотную к Тиму. Опасное для нас было место по вечной вражде с тамошней ребятней. Драчки случались, ягоды они у нас норовили отнимать, а мы их дразнили “хамками”. То ли за грабеж этот бесстыдный, то ли из некоего городского высокомерия. Даже стишок им при случае выкрикивали-дразнили: “Хамы, хамы, хамотрёсы, не подмазаны колёсы...” Дальше непристойно, но и остроумно тоже. Помню случай забавный: идем втроем с полными банками земляники и вдруг они, “хамы”, в большом, намного нас превосходящем, числе. Тут нам старшой по авторитету и силе, Шурка Чупахин, и крикнул: “Высыпайте ягоды, пусть с земли подбирают!” Высыпали и идти-уходить продолжаем. А они и в самом деле за нами не погнались для драки, у ягод застряли. До сих пор помню чувство, что мы поступили лучше, правильной, чем они...

Липовый лес был подальше, побольше, потаинственнее и славился родником, в котором и прохладиться и, главное, напиться можно было. И еще дремучесть в нем некая особенная была из-за множества елей. Мы в глубь его избегали заходить, опасаясь заблудиться. А потом, студентом уже, проехал я его на велосипеде насквозь за несколько минут, увидел за ним деревушку уютную и даже разочарование некоторое испытал, будто некую дорожку, заветную тайну детства вдруг неосторожно разрушил.

Шеламовский лес, Шеламовка, был самым дальним, километрах в шести по грейдерной дороге. Ходили туда всегда к осени, за орехами, и поход этот считался делом серьезным и по отдаленности и потому, что на опушке леса, рядом с дорогой жили совершенно одиноко две тетки нищенского даже по тогдашнему времени, странного вида. Колдуньи, как у нас считалось...

Это все леса-перелески детства и юности, а теперь много лет вокруг леса вековые, дремучие, калужские, переходящие на юго-западе в знаменитые брянские, "брынские" по-старинному. Через них сам Илья Муромец в Киев когда-то ехал, с самим Соловьем-разбойником у нашей реки Ресеты сражался...

Но как ни хорош порой бывает лес, чувствую, что не лесной я человек, душу он исподволь как-то угнетает. Когда увидел впервые деревни, поселки дачные, внутри леса расположенные, то удивлен был неприятно: тесно, тесно, как в зеленой тюрьме. Даже кладбища лесные не милы, унылы — ни вида здесь, ни вдоха!

И все-таки из самого-самого любимого в природе есть и с лесом именно связанное: сосна могучая с золотистым стволом и солнечная синева сквозь ее крону...

* * *

Дорога к Богу, дорога в ад, дорога домой, дороги войны, любви, жизни... Кажется, что ко всему важному, основному это слово можно приставить и будет оно в самый раз. Дорога победы и поражения, славы и позора, праведности и греха...

Но начинается-то все и в истории человечества, и в судьбе каждого человека с дороги, как таковой, по которой сначала ходили (и человечество и человек), а уж потом стали ездить — сначала на животных, а потом на всяких устройствах самодельных.

Первые дороги — тропинки под босыми ногами, теплые, горячие даже на солнце и прохладно-влажные в тени. И казалось, что не только ты сам, своей силой по тропинке идешь-бежишь, но и она чудесным каким-то образом тебя на себе несет вперед и вперед. Тропинке нет конца, а ты все-таки останавливаешься, потому что незнакомым и оттого страшноватым становится все вокруг. Твое кончилось и начинается чужое, которое с каждым разом удаётся отодвигать все дальше. Осваивать мир, расширять свое в нем присутствие.

Теперь же, на склоне дней, замечаешь, что ежедневные прогулки медленно, незаметно почти, год от года становятся короче — обратный пошел процесс — в самого себя возвращение...

* * *

Не забывается первая любовь, не забывается и к ней, любимой, дорога. И эта память, как и смерть, уравнивает всех — президента страны и пастуха, маршала и солдата. Читал в чьих-то воспоминаниях, что маршал Жуков в войну, в редкие спокойные минуты, на баяне играл. И не что-нибудь, а "Позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки"... Играл и напевал тихонько. Возможно, и было, тоже ведь человек, хоть и маршал Жуков, и война кругом...

Лучше всех, по-моему, дороги войны показал Твардовский в книге "Родина и чужбина". Идут солдаты колонной в осенний холод, в дождь ледяной по грязи непролазной час за часом, а впереди не отдых, не просушка и обо-

грев, а окопы с тем же холодом, дождем и грязью. И действует это описание не многим слабее, чем описание боя — до мурашек по спине...

Была и у меня не фронтовая, конечно, а армейская дорога — межконтинентальную ракету с ядерной боеголовкой сопровождал на санитарной машине. Пять километров ехали часа два и все время торец ракеты перед глазами торчал. Скучно, маятно и неловко от непонятности, нелепости даже своего тут присутствия — я-то, врач, зачем? Помощь, что ли, медицинскую оказывать в случае взрыва?

* * *

Есть песня фронтовая, очень грустная, трагическая даже: “Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне неживой лежит...” А начинается с двух слов, вполне определяющих и тогдашнее и даже теперешнее, житейское наше отношение к дорогам: “Эх, дороги...” Лучше и короче не скажешь. А если вспомнить, что на дорогах теперешних гибнет ежегодно около 30 тысяч человек, то покажутся эти слова слишком уж лирически мягкими, кощунственно мягкими, так даже можно сказать.

Тут и Пушкин вспоминается, как почти по любому, серьезному и глубокому, поводу, его “Дорожные жалобы”: “На большому мне, знать, дороге, умереть Господь судил. На камнях под копытом, на горе под колесом, иль во рву, водой размытом, под разобранным мостом”. Он же и предполагал, что хорошие дороги появятся в России лет через 200. Пошутил, похоже, с некоей язвительностью, дав срок до нелепого и смешного большой, а оказалось, что и он мал.

* * *

Уход и возвращение, дорога из дома и дорога домой... Что-то тут есть вечное, глубинное, от воли человека мало и зависящее. Что-то первичное, религиозное даже. Уйти и вернуться — чувствуется в этом цельность жизни, цикл ее, где сводятся наконец-то начала и концы.

Из земли вышел, в землю и уйдешь, так сказано. Первую свою книжку я назвал “Долгая дорога” и жалел потом — уж очень обыденно, затерто. А теперь, на старости лет, думаю — хорошее название, про жизнь, которая как раз и есть дорога, у кого покороче, у кого подлинней. И опять Пушкин вспоминается: “И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлеть, все ж ближе к милому пределу мне бы хотелось почивать”. А где он, предел, что он такое? Место, где родился и рос, где счастлив был, так, наверно.

* * *

Холод, ветер сильный, перехожу дорогу, по которой машины на большой скорости шныряют. Старушка ветхая, издалека даже видно, стоит, ждет в потоке их просвета, в магазин ей, видать, по ту сторону надо. Подошел.

— Давайте переведу!

Посмотрела остро, оценивающе, пакет, со стороны которого я оказался, в другую руку, подальше, переложила и сказала твердо:

— Пойдем!

Передохнуть на другой стороне остановилась и резко:

— Как зовут?

— Юрий.

— Но не Гагарин?

— К сожалению, нет...

— Ничего, не жалей. Обойдешься.

И в магазин ее пришлось заводить — ступеньки, две двери неуклюжие с порогами, сумрак... Кивнул ей, повернулся уходить.

— Юра, ты куда? А обратно кто меня поведет? — И засмеялась так, что на миг стало ей не восемьдесят, а восемнадцать.

Пишешь, потому что чувство долга некоего непонятого перед кем-то или чем-то к перу и бумаге толкает. Надо писать, а почему, Бог весть. Есть и варианты в исполнении этого долга. Или сила, внутри, в груди, в душе набухающая до мурашек по коже, выхода ищет, или, наоборот, тоска настолько едкая, непереносимая, что впору от нее лекарство принимать поспешно. И лекарство это, знаешь уже по опыту — написать что-нибудь, неважно даже что, просто какие-нибудь слова, фразы. Да, вот именно — слова, слово... Держаться за них, за него, как за последнюю твою опору и надежду. Так и приходилось делать в конкретные часы и минуты и, удивительно, помогало! А если вообще жизнь впереди представлялась беспросветно мрачной и тяжелой, то на вопрос, как же ее, такую, жить, ответ один был — писать буду, вот и все.

Подумал об этом и вдруг прекрасного человека и писателя Алексея Ивановича Шеметова, давно уже покойного, вспомнил. Сидели однажды, ночь целую проговорив, и уже на рассвете он маленький эпизод из лагерного своего опыта вспомнил — о том, как литература ему выжить в лагере помогала. Пилили бревно двуручной пилой, опилки ему на штаны ватные ровненько так, дорожкой, ложились, а он представлял, как и это тоже опишет когда-нибудь...

И выжил, отсидев около десяти лет по 58-й статье, и много хороших книг написал потом. О лагере же писал напоследок, в конце долгой своей жизни, и замысел тут у него был совершенно особенный и, по-моему, прекрасный: не о плохом, ужасном написать, об этом уж много-много написано, а о хорошем. Ведь случалось же оно, бывало и у него, и у других. Не могло не бывать, потому что не адом же был ГУЛаг, а жизнью все-таки, пусть и самой страшной, но в которой все-таки случается всякое. Способность же увидеть и запомнить свет среди сплошной почти тьмы есть признак души сильной и высокой.

Высота и сила его души, кстати, и во внешности чудом каким-то проявлялась. Лицо простое, народное с цыганской или чалдонской особенкой, морщины крупные, кожа, изношенная усилиями всей жизни — лицо земледельца, геолога, матроса, одежда небрежная до крайности, заношенная... И с таким внешним видом, не раз наблюдал, его во всяких разных местах, где пропуск или документ, чтобы пройти, был нужен, его просто так, свободно пропускали. Чутьем, видать, угадывали — особенный, значительный человек, которого останавливать неловко и не надо.

Был он очень худым, но каким-то закаленным-прокаленным, прочным и прожил бы, скорей всего, далеко за восемьдесят, если б в гололедицу не поскользнулся, не упал, сильно поломавшись. Хоронили его поздней осенью при холодном мелком дожде, но головы у всех так и остались непокрытыми до конца...

Очень хороши, на мой взгляд, даже одни названия его книг: “Вальдшнепы над тюрьмой”, “Сумка дервиша”, “Крик вещей птицы”. Хоть и тюрьма тут присутствует, но и какая душевная свобода и воля!

А совсем недавно прочитал дневниковую запись большого, великого, может быть, поэта Николая Клюева, бывшего в конце тридцатых годов прошлого века в Томске, о том, что навестил его молоденький рабфаковец Алексей Шеметов — и как привет от Алексея Ивановича получил...

Пришлось видеть, как ведут себя люди в тяжелой, долгой и, в конечном счете, безнадежной болезни при лечении, которое переносить едва ли не труднее, чем саму болезнь. Творческие, что называется, были люди — два поэта и театральный режиссер. Поражала энергия, с которой они продолжали, несмотря на болезнь, заниматься своим делом, и результаты его были едва ли не лучше, чем при полном здоровье. Откуда, думалось изумленно, такая сила духа, сила воли, такое мужество и выносливость? К себе ситуация

неизбежно примерялась и становилось как-то виновато — нет, самому так, если случится, не потянуть...

А потом понимание постепенно пришло, что именно дело творческое, в котором самая суть жизни их была заключена, на такой высоте их и держала. Особенного волевого самопреодоления им, возможно, и не требовалось — дело жизни их не только вело, но и помогало держаться не просто на плаву, но и на редкой высоте. Было у них что сказать людям, они и говорили с энергией ограниченного жестко времени, стараясь успеть. Тут, похоже, и есть тайна такого достойного, завидного ухода или хотя бы часть ее существенная, когда дело, которым человек занимается, соразмерно жизни самой.

Очень уже давно друг хирург рассказывал, как в их отделении делали тяжелую и опасную операцию главному конструктору одного из калужских заводов. И первые слова, которые он, конструктор, сказал, были: “Работать я смогу?” И фамилия запомнилась — Кирюхин, лауреат Ленинской премии. Тоже, конечно, творец истинный был, для которого дело жизни ей самой соразмерно.

Ну, а как же Бог, люди самые близкие, любовь в конце концов? А это все в творчестве, пусть и в скрытом, свернутом виде, заключено. Бог — творец, и человек сотворец Богу. Бог есть любовь, но и в сути самой творчества тоже любовь к тому, что человек сотворяет для людей. Вот и сходится, похоже, здесь концы с концами...

* * *

Вообще, начало творческое, пусть и в самом слабом, крошечном проявлении, можно в любое, ну, почти в любое дело внести. Помню, мастерили мы в детстве лодочки деревянные с бумажными парусами, самолетики из бумаги. Порой получалось особенно удачно, красиво как-то, и красивые эти изделия и летали-плавали лучше других. Запустишь красивый самолетик и так он далеко и высоко летит, такие виражи лихие закладывает! Смотришь и даже сердце замирает, словно ты не на земле стоишь, а там, в самолетике своем сидишь, и им управляешь.

Пришлось видеть даже и забор, вполне творчески построенный — в Юрмале, в месте впадения реки Лиелупе в море. Бетонный, с изгибами гармонически-плавными, как волны морские, в одном месте даже в реку чуть заходящий и образующий нечто вроде беседки. И стеклянные квадраты, и прямоугольники были там и там в бетон вмазаны, и на них роспись тончайшая — пейзажи, люди, звери... Узнал у жильца дома, стоящего у забора, простецкой восьми квартирной двухэтажки, что забор строит в одиночку архитектор, который в этом доме и живет. Всю жизнь строит, десятки лет. В последнее время, правда, помогать стали, бетон дают — привозят. Уверен, что забор этот городской достопримечательностью, туробъектом стал в конце концов.

В тульском музее оружия есть фотография конца XIX века: “Мастер Севастьянов со своим изделием”. На ней мужчина средних лет, сидящий на стуле особенно как-то прямо, усы в стрелку, взгляд прямой и пронзительный. Правой рукой мастер держит ружье, упертое прикладом в пол, левая лежит на левом колене. Поразительно величественный вид, будто он и не заводской рабочий, а царь-государь или полководец. А потому что опора у него самая надежная, которая только вообще может быть у человека — его изделие...

* * *

Прочитал где-то, что главной исторической удачей Швеции было поражение в Северной войне с Россией. Вполне понятно — ушла она с авансцены истории в Скандинавскую свою тихую заводь. На авансцене схватки страшные одна за другой не на жизнь, а на смерть, революции кровавые у главных стран-игроков, разор, голод, трус и мор, а шведы жили себе поживали да добра наживали. И сами, может, того не желая, для самих себя незаметно, шведский свой социализм и построили. Уж если не с полным ра-

венством, то с максимальной разницей в зарплате всего в семь раз. А в России она, разница эта, теперь, после моря пролитой крови в борьбе за равенство, в сто раз, примерно. Тут и вспомнишь мысль Пушкина о том, что наилучшие и прочнейшие изменения суть те, которые совершаются не насильственными переворотами, но путем улучшения нравов. “Постепеновцем”, выходит, был Пушкин. Со студенчества помню, что в российской социал-демократии были они, “постепеновцы”, и говорилось о них в учебниках весьма пренебрежительно. То ли дело баррикады!

Очень уж и человек, и жизнь его противоречивы, порой до безвыходности, и тут хороша и глубока мысль Пастернака: “...Но поражений от победы ты сам не должен отличать”. Потому что это в самой-самой сущности своей и неотличимо. В победе таится всегда зерно, возможность последующего поражения, а в поражении зерно победы. Делай, что должно, пусть будет, как будет — вот одна из мыслей самых мудрейших, на ней сердце и успокаивается, потому что результатов дальних от действий наших все равно никогда не просчитать.

* * *

Шли мы в детстве с дружкой Генкой ко мне домой в шахматы поиграть и пристал к нам по дороге Валька Ключин, наш поселковый бродяжка — оборванец по странному прозвищу У Ну — был тогда такой деятель в ООН, чуть ли не Генсек, вспоминали о нем часто по репродукторам на столбах. Вот Валька однажды и выдал: “Да ну, сказал У Ну”. Тут-то прозвище к нему и пристало, по имени его и не звали почти.

Дошли до дома, и я калитку перед носом этого У Ну и захлопнул, и ожог стыда тут же ощутил, который до сих пор помню. Помню и резоны свои оправдательные: прилипала, рахитик грязнее грязи, придурок... Да и что бы он с нами делал, не умея в шахматы играть? Смотрел бы, как баран на ворота? Резоны существенными были, но стыд так и не смогли унять, приглушили разве...

А вспомнил я эту историю вчера в соседнем сквере. Сажу на лавке, открыл банку пива и слышу от мужика бомжовского, пропойного вида, сидящего рядом: “Дашь глотнуть?” Покачал я головой отрицательно, а он тут же встал и пошел быстро. И стало мне так, что хоть следом иди и банку эту ему всучивай. И опять же оправдание мелькнуло — не пить же с ним, таким, из одной посуды? Ну, так и отдал бы банку, а себе бы другую купил! И не пустяк это совсем, а грех истинный — в глотке человеку жаждущему отказать...

Характерно, что “достаёт” подобное именно в детстве и старости, а в так называемые зрелые годы, пожалуй, и внимания бы не обратил. Поэтому, может, что общность братская людей в начале и конце жизни острее чувствуется. В начале не выделился еще вполне в эту самую индивидуальность, границы ее не обозначил и не укрепил, а в конце размываться они стали. И правильно, и хорошо.

* * *

Вспомнил Вальку Ключина, и вся семья его вспомнилась: мать хворающая, нигде не работающая, брат старший Колька, настоящий Маугли по силе и ловкости, и старшая сестра Верка, красавица писаная. Кормила всех она, работавшая в райпотребсоюзе, а жили они в подвале с буржуйкой, из бочки сделанной. Крайняя, конечно, нищета, но и какая бодрость, веселость у всех, кроме матери! Верка была так хороша, что глазам не верилось. Жемчужина какая-то среди мусора, так, примерно.

И вдруг Верка исчезла — разглядел ее какой-то мужичок случайный из Подмосковья и с собой увез. Да это-то понятно вполне, но ведь она вернулась вскоре и мать с братьями с собой забрала! Это именно всех поразило — куда, к кому выйти орду такую? По слухам, устроились они как-то, а братья даже в школу стали ходить, чего в Тиму не дельвали...

Прямо под горой, на которой их дом (подвал) находился, была хатенка, в которой жил парень старше меня года на три, в нашем педучилище учился, а потом адмиралом в конце концов стал. Ну, ладно бы, генералом, а уж адмиралом — и совсем чудо-чудное.

А через дорогу и чуть в сторону от нашего дома в многодетной и очень бедной семье девица тихонькая росла. Имени ее не помню, а у ее брата прозвище было “Муза”, у такого вялого, белобрысого толстяка! Так вот сестра его знаменитый физтех, что в подмосковном Долгопрудном, закончила, карьеру научную сделала и тоже, как Верка, родных к себе перетащила.

У моего же свояка (впоследствии, конечно), тоже нашего, тимского, было три брата и две сестры. И мать — кормилица единственная, и хата метров в двадцать пять квадратных. Свояк, лет на десять меня старше, строительным начальником стал союзного масштаба, и все его братья-сестры в люди, что называется, вышли. И еще можно рассказывать о многих с похожей судьбой. В том похожей, что они все вверх-вверх шли по всем социальным и житейским понятиям. Потому что, думаю теперь, несмотря на тяжелейшую жизнь в смысле материальном, дух народа был тогда крепок и высок, как никогда, может быть, раньше. Позади такая война и такая Победа, а впереди будущее — светлое непременно. Вот и шли к нему все вверх и вверх...

А сейчас сижу и думаю о людях, о семьях, которые хорошо знаю и с которыми прожил рядом последние два десятка лет. Кто-то устоял, продержался, но многие пошли по наклонной вниз. Особенно молодые — в безделье хроническое, в пьянство, в наркоманию. А потому, что дух народа никогда, возможно, не был так слаб и унижен, как в это время. Хотя материально все было несравненно благополучнее, чем тогда, в конце сороковых и начале пятидесятых. И предела этому движению вниз пока не видно, мне, по крайней мере...

И еще о похожей перемене. Были у нас в детстве-отрочестве-юности правила, никогда почти не нарушавшиеся: двое одного не бьют, лежачего не бить, драка до первой крови. Теперь же, и из личных наблюдений, и из информации СМИ как раз наоборот стало: бьют одного именно группой, лежачего особенно яростно, ногами; а уж до крови, понятно, до второй, третьей и последней в конце концов. Большой пройден путь “вниз” от нашего послевоенного рыцарства самодельного до теперешней подлой беспощадности. И не “самодельной” уже, а с большой подсказкой извне, с экранов и книжных страниц.

* * *

С раннего детства всегда влекли потаенные уголки в кустах, травах высоких, бурьянах. Хотелось туда забраться, да и приходилось порой. То от обиды с уверенностью, что искать будут, беспокоиться, жалеть, а то и просто так, посидеть в уюмности таинственной с чувством, что что-то волшебное тут с тобой может произойти.

А к старости увидишь потаенное, приятное место, да и подумаешь — вот бы где прилечь, да так и не встать, навсегда тут остаться. Есть у Пришвина подобная запись в дневниках, не предположительно-мечтательная, а вполне серьезная, как реальная возможность, план, выход на самый крайний случай: уйти подальше, лечь в пустынном, уюмном месте и умереть. Привлекательный вариант ухода, потому что рук на себя в таком случае человек не накладывает, греха этого на себя как бы и не берет. Только уж очень трудно: голодно, холодно с соблазном постоянным все это прекратить. Тогда уж мороз настоящий нужен, чтобы просто-напросто замерзнуть.

Известно, что и животные для умирания в места тайные, уюмные иногда уходят и самоубийства у них тоже случаются. Поразительное сближение! А если учесть, что геномный набор у человека и человекообразных обезьян различается минимально, на несколько всего процентов, то можно подумать, что эти проценты как раз и есть та именно душа человеческая, которую Господь Бог в нас и вдохнул когда-то...

* * *

Все чаще приходится на похоронах бывать, что и понятно — поколение уходит. То одно кладбище, то второе, то третье. И осматриваешься с затаенным интересом, и сравниваешь, и к себе, конечно, примеряешь. Есть у Твардовского стихотворение о матери, попавшей на Северный Урал в годы коллективизации и раскулачивания: “как не хотелось ей там помирать — уж очень было кладбище немилое”... Да, именно так и смотришь: милое — немилое...

Только что побывал на нашем городском, самом большом, активно действующем, и ткнулся взглядом в нечто новое: за одной из сторон и оград огромное поле, все уставленное рядами немецких машин, сделанных на расположенном рядом заводе “Фольксваген”. Как-то не по себе даже стало. И без того от них, машин, спасения нет, а вот уже и сюда добрались! Жестяная чума, распространяющаяся с эпидемической прямо-таки быстротой. Вот было кладбище это довольно милым, да немилым вдруг сделалось... Еще ужасны были венки из пластика, которые год от года становятся все огромнее, все ярче и пестрей. Просто шалаша какие-то выстраиваются над свежими могилами двухметровой высоты. Ужасна мертвенность этой пластиковой роскоши, потому что, кажется, она самих мертвецов мертвее и вне природы словно бы уже существует...

В детстве и юности кладбища были очень милы, хотя и страшноваты далеким, потусторонним каким-то, страхом. И имели они к тебе отношение, и, одновременно как-то, нет...

С Ириной пятьдесят пять лет назад приходилось посидеть вечерами у кладбища над нашей речкой. Чудесное было место, и кладбище не только его не портило, но даже улучшало, пожалуй. Чувство жизни, ценности ее увеличивало подсознательно. Опять без Пушкина не обойтись: “И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть, и равнодушная природа краскою вечною сиять”. Так все, примерно, и было тогда: и с жизнью молодой и природой равнодушной...

В Воронеже в годы студенчества был парк в центре города с танцплощадкой популярной, и называли его “Жим”, “Живых и мертвых”, так расшифровывалось, потому что на месте снесенного кладбища он был сделан. Вспомнишь об этом, топчась на танцплощадке, и станет тебе и мутно и стыдно...

Но была ведь и стоянка походная под Воронежем на берегу Усманки, поздний закат, кладбище сельское через речку, кресты его, хорошо видные на фоне остывающего неба. И почудилось тогда, что ничего прекраснее, печальнее и значительней не приходилось видеть в жизни...

Философ Николай Федоров сто с лишним лет назад высказал идею, которую и разрабатывал всю жизнь: воскрешение мертвых во плоти самым материальным, научно-практическим образом. Главную задачу всего человечества в этом видел, выполнение священного долга перед предками. Ничего величественнее, но и фантастичнее, неосуществимее никогда, наверное, и не выдвигалось. А через сотню всего лет возможность воплощения этой идеи стала вдруг просматриваться: если прах сохранился, то сохранились и клетки с их генным набором. Так почему бы, имея гены, человека из них не взрастить? Перспектива поразительная, ни с чем несравнимая. И восхищает, и ужасает одновременно. Что люди, естественно живущие, будут с воскрешенными делать, и как те, из смерти возвращенные, себя в мире будут чувствовать? Какой-то поворот жизни вспять получится, что противоречит всей сути ее...

* * *

Отпечатки пальцев совершенно особенные у каждого человека, а нас ведь семь уже миллиардов. Непредставимо, как эта особенность в каких-то пятнышках на бумаге обозначается. Чудо, в сущности! А если души человеческие представить с их сложностью бесконечной? Тут уж и разница, и отдаленность друг от друга поистине космически неизмеримыми быть должны.

Как сблизаться, как понимать друг друга, как договариваться?! А два центра, два полюса сближения теснейшего есть. Высшее в человеке, к Богу устремленное, и низшее, биологическое, животное. Жажда, голод, влечение половое можно простейшими жестами показать и тут каждый поймет каждого. И на другом, противоположном, полюсе так же. И выражение лица у молящихся людей самых разных вер очень похожее, и движения, жесты, тоже. Увидел как-то в Ленинграде, в мечети огромной, распростерты спины мусульман и подумал, что это ведь наш христианский, земной поклон, в сущности, только зафиксированный и задержанный. А давняя приятельница татарка, очень эмоциональная, воскликнула как-то в разговоре: “Господи, аллах святой!” И перекрестилась. Оно и нелепо, смешно, но и вполне понятно. Чувство обращения к Богу искреннее и горячее тут вполне выразилось, а пуганица обрядовая, пожалуй, не так и важна. Да и Христа мусульмане не отвергают, хоть он у них не Бог, а пророк. И еще в этом полюсе сближения высокоом, Божественном, искусство истинное действует, людей сближает. Недаром говорят: Божественный Рафаэль, Моцарт, Пушкин... Они и понятны всем.

* * *

Входят в моду брюки, бывшие модными лет шестьдесят назад: очень узкие в самом низу и короткие, выше щиколоток. Странно и мило их видеть, словно в молодость вдруг вернулся. Словечко тогда еще было емкое и точное по адресу человека, брюки такие надевшего: “Как подстреленный”. Очень хорошо и даже художественно.

Разнообразие моды кажется бесконечной, но ведь повторяется она рано или поздно, вновь и вновь демонстрируя вечную истину — ничто не ново под луной. Дома моды, модельеры знаменитые в этом деле заправляют, но случается вдруг и индивидуальный чей-нибудь вклад, как “толстовки” Толстого или “хрущевки” Хрущева.

Давным-давно видел, как встречали знаменитого английского режиссера Питера Брука, и кого-то он мне мучительно напомнил по своей одежде. И вдруг понял: мужики наши, времени начала продажи спиртного в магазинах ожидающие, очень похоже бывают одеты. Совпал с ними Питер Брук то ли случайно, то ли по глубинному, таинственному какому-то родству. А, может, несколько иначе: они по необходимости так одеваются просто-напросто, а он по вкусу своему артистическому. Как режиссера я его не знал совершенно, но симпатию к нему вдруг ощутил вот за это самое совпадение...

Удивителен контраст между мощью человека научной, технической, художественной и подверженностью, покорностью моде, какая-то даже перед ней беззащитность. И детское тут что-то есть, игра какая-то бесконечная. Смотришь на подиум: нелепо, смешно, но ведь и забавно, и мило, и тепло повест вдруг. Детскостью какой-то милой, простодушной. “Будьте как дети”, из Библии слова. Трудно это, но в чем-то порой и получается. В моде, например.

Смена одежды иногда не по моде, а по иным, более серьезным причинам происходит. Фронтовики, с войны вернувшиеся, сами армейскую свою одежду донашивали, а потом демобилизованные в мирное время парни стали этого стесняться, отцам и, главное, дедам ее отдавать. И замелькали в деревнях и селах мужики пожилые и старые в зеленых гимнастерках и галифе. А с начала 90-х началось переодевание стариков и старушек в молодежные одежды от внуков и детей, которое длится и до сих пор. Особенно старушки выглядят удивительно, а порой и чудесно — от карнавала тут что-то, от маскарада. А бывает так, что и от горькой, скудной слезы...

* * *

Читаю Бабеля, “Конармию” и “Одесские рассказы”. Очень талантливо — ярко, сочно, зримо, энергично, плотно. Некоторые места воспринимаются почти как стихи. Что-то, однако, упорно мешает все это принять, слов-

но заноза колющая. И в конце концов понимаю, что автор не просто показывает гражданскую войну, но словно бы ее и воспекает, как высшее проявление жизни, прелести ее и накала. Какие страсти, какие характеры! И, одновременно, что-то бутафорское, опереточное есть, некое стремление упорно поразить читателя и очаровать. Кровь и смерть показаны, конечно, но тоже как-то условно и приукрашено, что ли. Вспомнился Томас Манн: “Фашизм есть романтизированное варварство”. Люблю, в общем-то, Бабеля, перечитываю даже изредка, но не могу не признать, что манновское высказывание некое отношение к “Конармии” имеет. Да и к “Одесским рассказам” тоже. И в них романтизация, но уже не войны, а бандитизма. Не случайно рассказ о самом ярком герое “Рассказов” Бене Крике называется “Король”. И ведь хорош этот Бене: и смел, и умен, и честен по-своему, благороден даже. Одно в нем плохо — бандит махровый, а в остальном лучшего и желать нельзя. Пример для подражания прямо-таки.

Кстати, эту самую “романтизацию” уголовщины и на собственном опыте помню с конца пятидесятых годов. Упоенно мы, студенты, распевали за выпивкой блатные песни. Тут и про Мурку знаменитую было, и про курьерский Воркута — Ленинград, и про Ванинский порт и много еще про что. И мода на уголовные песни и фольклор только ширилась с годами, проникая и в художественную интеллигенцию, и в научно-техническую. Так что и мы, многие, к той волне преступности, что захлестнула сейчас Россию, свою руку, пусть и невольно, а приложили.

Опаснейшая вещь эта “романтизация”, вербовка настоящая молодежи в преступный мир. Слышал как-то рассказ писателя Юза Алешковского, автора знаменитой песни “Окурочек”, о своей жизни. Так о начале дел своих уголовных он с какой-то сладкой ностальгической грустью говорил. Жалел словно, что прошли, такие милье и дорогие. И невольно поддаешься этому тону, и сочувствуешь ему.

А уж в революцию бандиты входили, как рука в перчатку. Да и Бене Крик в ней бы, скорей всего, вполне пригодился.

* * *

Жара, зной, дни один в один, как штампованные. Кто-то мучается, а для меня нет лучше погоды, гены южные, видать, отзываются. Не только телу приятно, но и душе. Хмель зноя, который получше винного.

Хмель... Широкое понятие — ощущение. Хмель жизни, хмель любви, хмель творческой работы азартной. Осознаешь его вполне, когда он слабеет, редеть начинает. Уходит и ты то ли просыпаешься медленно, то ли, так же медленно, трезвеешь. Странное состояние. И горечь в нем, и сожаление, и грусть...

Пора трезвления подошла, вот в чем, понимаешь наконец-то, дело. Трезвый же взгляд на жизнь труден — все вокруг, да и в самом тебе, режет, давит, разочаровывает. И все более пустынным становится в мире и в душе, бессмысленным, ненужным. Есть у Баратынского стихотворение о том, что нам дается в начале жизни запас иллюзий, “снов золотых”, и мы ими, живя, разочарования неизбежные покрываем, оплачиваем. “И теми снами золотыми прогоны жизни платим мы”, так кончается. Очень они, сны, на хмель похожи. Но ведь кончается в конце концов и запас снов, хмель улетучивается, и все труднее человеку жить и дышать. Вот в этом-то, возможно, состоянии поздняя вера и обретается, как поддержка и даже спасение. Новое вино наливается в меха, так в Библии. Вино веры, которое хмелит слаще мирского, житейского. А суть действия его осознание мира и человека, как чуда и тайны.

* * *

Старуха-крестьянка, художница талантливая, начавшая “картинки рисовать”, по ее выражению, в больших уже годах, попав в дом престарелых, увлеклась этим самозабвенно. “Дай рисовать и все тут! Про еду позабывала”.

А потом старость, глубокая уже, дряхлость, болезни мучительные. И крик ее жалобный и возмущенный, и даже потрясение кулачком: “Что ж ты позабыл-то меня, Господи, никак к месту не приберешь!”. Словно близкому самому, родному человеку. Вот это вера!

* * *

Сказал как-то старый друг: “Ребенок — это счастье, а больной ребенок великое счастье”. Я опешил прямо-таки: странная мысль, мягко говоря. К тому же у него сын был с серьезной, неизлечимой патологией, но жил не с ним, а с бывшей женой. Как раз лекарство я привез для его сына редкое, чтобы хоть немного подлечить, поддержать. Спросил в конце концов: “Ты ж с ним не живешь, как же знать такое можешь?” Ответил твердо: “Знаю”.

Можно было от такого отмахнуться, забыть, а вот не забывалось. Потому что человек он талантливый, умный, опытный-бывалый и слов на ветер никогда не бросал. Уж если что сказал, то в сказанном уверен. Да еще вот в таком — личном, болевом, важнейшем.

Время шло, и стал я понемногу, и сам размышляя, и наблюдая кое-что, мысль его понимать и почти принимать. Глубочайшая и абсолютно христианская мысль. Неизлечимо больной твой ребенок, это как огонек жизни зыбкий, готовый вот-вот погаснуть, защищенный только твоими ладонями. И любовь к такому ребенку-огоньку и должна быть великой, и великое счастье именно поэтому давать. И эту любовь, и это счастье знал, стало быть, и мой друг, иначе б не пришел к такой, пугающей даже поначалу, мысли, и не высказал бы ее так определенно и твердо.

А недавно посмотрел по ТВ историю про турчанку, нашедшую на улице сбитого машиной, страшно искалеченного молодого парня, славянской, приблизительно, внешности. Она помогала выхаживать его в больнице, а потом домой к себе забрала: обезвиженного, без памяти и речи, и ухаживала за ним годы и годы. Никто он ей был, просто человек, творенье Божье, тот самый огонек трепетный между ладонями. И две веры, христианская и мусульманская, сошлись тут неотличимо в великой точке любви...

* * *

Люди, страдающие болезнью Дауна, легко отличимы — и по внешним признакам и, главное, по добродушному неизменно выражению лица. И выражение это вполне их натуре доброй и общительной соответствует. А ущербность их и даже суть самая болезни в сниженном очень своеобразно интеллекте. Это не то, чтобы просто малоумие в житейском его смысле, а какая-то детскость ума, задержавшегося на уровне пяти-семи-десяти лет. И есть в этом детском уме что-то необыкновенно приятное, первородное. Что-то напрямую от природы, от Бога данное и не испорченное последующим житейским опытом. Про таких именно говорят в народе — простой. Иногда и по-обычному — простой. Имея в виду некоторую недоразвитость умственную, бесхитрость. Да, бесхитростны они, больные эти, простодушны, не денешься тут никуда, но ведь можно и спросить и себя, и других — а что в хитрости по большому, духовному, христианскому счету хорошего? Пожалуй, что и ничего.

А еще они и послушны, такие больные, и трудолюбивы по мере своих малых сил. Главное же — добры, привязчивы, любить способны.

В нашей округе таких два. Один под хорошим присмотром, от дома далеко не отходил и прожил для таких больных на удивление долго — за сорок. Второй, Сергей, вечно у ближайших магазинов толчется или в непогоду внутри них по углам обретается. Здоровается со многими, кое-кто и притормаживает, перекидывается с ним парой слов. Привычный для всех этот Сергей и даже приятный. Для меня во всяком случае.

Однажды вижу — бьет его какой-то парень здоровенный у входа в магазин, а поодаль девица стоит, наблюдает. Остановил я это безобразие, и вы-

яснилось, что Сергей чем-то девицу задел-оскорбил. Уверен, что злого умысла у него не было, получилось случайно, из-за особенностей его натуры.

После этого случая он исчез. Нет и нет и чего-то, словно бы, не хватает. Его и не хватало, Сергея, с его простотой, добродушием и доверчивостью детской. Божий человек. Обидели, он пост свой и оставил...

А в Москве самодеятельный театр, где все актеры больны болезнью Дауна, существует. "Театр простодушных", так называется. Ставят там самое-самое духовно высокое в мировой драматургии: Шекспира, Эсхила, Эврипида... Поразительно, что вот им, "простодушным", верить начинаешь так, как не поверил бы, возможно, самым талантливым, но обычным актерам. Тут именно, что устами младенцев истина говорит. Евангельская заповедь на глазах осуществляется: блажен, как дети.

Репертуар театра поначалу удивляет, но потом понимаешь, что именно таким он и должен быть. Социальное, бытовое, современное тут никак не годится — слишком мелким оно окажется для таких актеров. Из их "простодушных" уст самые главные, крупные, емкие слова исходить должны. И простодушием, и даже порой косноязычием актеров удостоверяться. "Быть или не быть...", "Жизнь человека тень ходячая..." Именно такое.

Кстати, обычные, здоровые дети нередко удивляют мудростью, взрослым, может, и недоступной. Лет в пять внучка Даша на вопрос, кто такой Бог, отвечала: "Это самый главный и добрый на небе". А на вопрос, что такое счастье: "Это когда кто кого любит". Вот и попробуй точнее и короче сказать...

* * *

Сын побывал в Индии, походил-поездил по ней одиноко, как хотелось, и написал очерк "В стране радости". Название поражает — неужели такие страны есть? Да не какое-нибудь крошечное королевство Тонго в Океании с райской природой-погодой, а Индия с миллиардным населением. Читаешь и верить начинаешь названию не только из-за убедительности текста, но и потому, что главные предпосылки радости в Индии, как нигде, может быть, соблюдены. Первая — смерти для индусов нет, а есть реинкарнация, переселение души вечное. Вторая — бедность крайняя, по нашим понятиям просто нищета. Живя в ней, человеку можно и спокойным, и даже радостным быть — терять нечего. Жив, вот тебе и радость. И вокруг такие же, как и ты, завидовать некому. Франциск Асизский писал: "Бедные, алмазы Божьи". Вот там, в Индии, это, возможно, виднее всего.

* * *

В следующем году пятидесятилетие нашего институтского выпуска. Ездил пять раз подряд, а последние 25 лет пропустил. Скорей всего не поеду. Страшно. Страшно вдруг оказаться среди сплошных стариков и старух. Перепад уж очень велик — были все еще хоть куда в последнюю встречу и вдруг — вот такие... И сам такой, в других это, как в зеркале, неизбежно отразится.

Хорошо знакомо, правда, быстрое исчезновение наслоений возраста при общении, словно снимается и отбрасывается за слоем слой почти до того, институтского еще, облика. И душа та же, давняя проявляется, и манеры. И через десять минут разговора разлуки будто бы и не было... Да, но тогда всего лишь пятилетними они были, разлуки, а теперь лет будет целых 25. Столько, пожалуй, не осилить, не преодолеть...

Размышляя о возможности возвращения в Россию, Бунин в конце концов решил — нет. И одна из причин та же самая была, возраст и срок разлуки. "Женщины, с которыми когда-то ..., уже старухи, и я уже не тот". Не смог, видно, написать слово "старик", рука не поднялась. Смешно, но и трогательно, и вполне понятно.

Самое же тяжкое, пожалуй, в этой моей, такой простой и возможной, поездке и встрече, то, что она наверняка последняя. Тут уж не скажешь "до

свиданья”, а надо говорить “прощай”. Не просто по домам будем расходиться-разъезжаться, а по могилам. Тут и улыбки последние друг другу будут не такими, как раньше. Не с надеждой на следующую встречу, а с тоской смертной, тайной в глубине глаз...

Хотя не ко всем такое можно отнести, найдутся же среди нас и истинно, глубоко верующие люди, должны найтись. У них-то надежда на встречу все равно должна оставаться — в мире ином. Ну, а у тебя самого с этим как? Не знаю. Не могу твердо сказать...

* * *

Девочка лет восьми высоко на дерево забралась и начала там по ветвям лазить, а то и раскачиваться лихо. Старушки на лавочке всполошились: “Эй, ты что это там! Слезь сейчас же!” Ответила напористо, со злинкой: “Не ваше дело! У меня родители есть!” Старушки примолкли, потом между собой переговариваться стали: “Смело как отвечает, надо же. Дерзка...” — “А и правильно, не в свое дело не лезь...” — “Как не в свое? А уьется если?..”

Тут и родители подошли с коляской, в которой сидел толстячок — годовичок. Посмотрели на дочь вскользь, стоят, разговаривают спокойно. А старушки умолкли, похоже, думают — новые времена, новые песни...

А я, наблюдая все это, случай из детства вспомнил. Полощу в ручье майку грязную после возни с приятелями, и вдруг топот и крик: “Ты что делаешь, пацан! Отсюда ж люди воду пьют!” Посмотрел ошарашено: конюх райпотребсоюзский верхом на лошади. Здоровенный мужик, лицо красное, злобное, плетка в руке. Конюх не прав был, потому что не в роднике я майку полоскал, а в начале ручья, из него вытекающего и всю грязь уносящего тут же. Надо бы объяснить это было, но я почему-то молчу и молчу. И уйти не могу, стою, как привязанный. “Он и лыбится еще! — крикнул мужик с яростью. — Плеткой бы тебя!” Хлестнул лошадь и уехал быстро.

Не раз потом вспоминал я этот случай, потому что понять собственного поведения не мог. Чего молчал, чего стоял, как пень? Улыбался-то от смущения, это ясно было...

Теперь же, наблюдая за девочкой на дереве, все и понял. От уважения к конюху я так себя вел. Кавалеристом он был в войну, так говорили. Да и вообще уважали мы в детстве старших, особенно мужиков такого, как конюх, солдатского возраста. Отцы — победители!

* * *

Поразительно, как конкретные бытовые мелочи на душу человеческую глубоко иногда действуют и о самом главном напоминают. О жизни и смерти, например. И в литературе такое отражается неизбежно, то там встретится, то тут. Василий Розанов в “Уединенном” записывает, как сидел ночью за своей любимой нумизматикой, слышал привычный шум вентилятора и вдруг подумал, что вот умрет и никогда-никогда больше этого шума не услышит. И весь похолодел от ужаса. А в рассказе Леонида Андреева “Жили-были” умирающий (и знающий об этом) дьячок плачет горько ночью. На вопрос же соседа о причине отвечает, что ему яблоно “белый налив” покидать жалко.

Подумал об этом, когда на затрапезной, состоящей из спрессованной колесами машин щбенки и мелкого, твердого мусора дороге, ярко-белую после дождя подошву вдруг увидел. Хорошо ее машины в дорогу вдавили, плотно, надежно, долго так будет лежать. И вспомнилось место из Андрея Платонова про лапоть, землей полуприсяпанный: “Лапоть нашел свою судьбу — из него росла березка”. Это какую же обездоленность и одиночество надо было чувствовать, чтобы такое написать с очевидной завистью к лаптю. Обездоленность и одиночество гения, непонятного и гонимого.

Как молодость мучается необходимостью найти свою судьбу, так и старость успокаивается тем, что судьба уже была, состоялась, пусть и самая незавидная. Ничего уже тут не изменить, вот и ладно...

Говорят о людях не просто разного, но прямо противоположного склада: этот появится и цветы расцветают, а этот придет и цветы вянут. И по науке есть два таких людских типа с противоположной энергетикой. Одни доноры, энергию свою отдающие, другие вампиры, ее забирающие. И решать сразу, что первые заведомо хороши, а вторые заведомо плохи, нельзя. Каждый тип в общечеловеческом человеческом свою роль играет. Кто-то должен отдавать, но кто-то должен и брать отдаваемое, чтобы равновесие некое приблизительное было. В супружеских парах часто такое содружество бывает: донор — вампир (или, чтобы смягчить страшноватое слово — реципиент). Вот и перетекает энергия от одного к другому и все более или менее хорошо, гармонично. Если же сходятся два донора (казалось бы, что лучше?), то некий избыток энергии возникает, “перегрев”, сложности свои создающий. А если два вампира сойдутся? Тут состязание, для самих его участников неосознаваемое — кто вампиристее, к тому энергия мало-помалу и потечет. И ему станет хорошо, а второму похуже, добавочную энергию придется с усилием вырабатывать, которой и так маловато.

Сложнейшая для людей игра от счастья яркого до несчастья мрачного. А в самой глубине, в основе на энергии все замешано. Как и в мире материальном вплоть до вещей космогонических: и взрывы с выбросом энергии чудовищным, и черные дыры, ее поглощающие. И необходимо и то, и другое, чтобы вселенной существовать.

Во всем эта двойственность, эта диалектика, как капкан, подстерегает человека и хочется ему избежать его, выскользнуть, что-то иное найти. Лермонтов и нашел, и выразил это в стихотворении “Выхожу один я на дорогу...” Тут, в конце самом, описано состояние между жизнью и смертью, третье какое-то, промежуточное. Чтобы и жизнь не мучила мукой своей неизбывной, но и смерть не уничтожила бесследно. Мечта, конечно, но ведь веришь в возможность ее осуществления из-за гениального текста. И напряжения жизни, при котором “больно и трудно” нет, и прелесть ее вечно остается с темным дубом шумящим, с голосом, сладко поющим о любви...

Нечто похожее буддисты ищут и находят в медитациях своих, так глубоко уходя в себя от окружающего мира, что он перестает ими ощущаться. А конечная цель, нирвана, когда и жизнь ушла, и смерть не наступила. Очень близко к лермонтовскому желанию-мечте...

“Трава забвения”. Удивительное выражение по противоречивости чувств, которые оно вызывает. Тут и горечь, тут и сладость какая-то странная. И сочетаются эти чувства так органично, ладно, словно переплетенные пальцы рук.

Хороши тщательно ухоженные могилы с цветами, плиткой керамической, столиками — скамейками, памятниками с надписями и фотографиями, но есть в этой ухоженности и что-то лишнее, мешающее, неприятное даже. То, пожалуй, что все это живыми для живых делается, а для мертвых, в земле лежащих, тут, в сущности, ничего и нет. Лишнее все это для них, ненужное. А что нужно? Холмик могильный, крест деревянный да та самая “травка забвения”, которая вырастает в конце концов на могиле, вытеснив сорняк — бурьян...

Толпа на похоронах, очередь к гробу при прощании, это тоже для живых нужно и от мертвого далеко-далеко. А близко люди самые близкие, которые его любили при жизни, как реального, живого человека, и после смерти будут любить. Немного таких для любого покойника — пять, десять. Те самые, которых и он любил и вспоминал в последние свои дни и ночи.

Капля же сладости в словах “травка забвения” происходит, может быть, от предчувствия окончательного разрыва с жизнью земной, суетной, преходящей и от чаяния жизни иной, вечной уже...

* * *

Начинается жизнь и начинается освоение пространства — дом, двор, улица, город или деревня, окрестности их... И как остро чувствуется в детстве привычность, родственность уже освоенного и привлекательность тревожная всего, что за ним. Иные места, иные, главное, люди, ребята. Побить могут, да и бивали, как и мы их, к нам забредавших. Без причины, придравшись к пустяку какому-нибудь. Просто потому, что дальние, чужие. Но были места общие, где приходилось соблюдать нейтралитет: площадь поселковая с магазинами, стадион, речка. Не умом, а нутром все чувствовали, что тут мирное нужно сосуществование, иначе плохо будет всем. Жаль, что этого чувства целым народам не хватает из века в век...

А горизонт манил нас к себе и манил — посмотреть, что там, за ним. Шли к нему, никогда недостижимому, а потом и ехали, плыли, летели... Все, кто подалее, кто поближе. Кому-то легок и весел был этот уход, кому-то тяжел, а кто-то даже и возвращался в конце концов. Домой возвращался, жить-доживать. Или приезжал в серьезном уже возрасте с родными местами встретиться, а то и проститься. Такая пульсация жизни всей — туда и обратно. Уход и возвращение. На малое время или навсегда.

Восхищает название гроба по-украински — домовина. Кажется даже, что украинцам и умирать легче, чем всем остальным — всего-то на всего дома оказаться...

* * *

Услышал по радио: “Мы едем, едем, едем, едем в далекие края, хорошие соседи, веселые друзья...” И словно кнопку какую-то у меня в голове нажали: Кузьма Филиппович, учитель пения, представился как живой. Он на скрипке играет, а мы эту песню самозабвенно распеваем. Чудесная песня, про счастье жить на свете. И пелась она с ощущением счастья, не только твоего, но и всеобщего. Да я и до сих пор ее прекрасно всю помню и спеть бы мог. Интересно, чувство счастья возникло бы или нет? Можно б и узнать попробовать, да, жаль, нельзя. Неловко, стыдно даже перед самим собой...

Кузьма же Филиппович вдруг так явственно, ярко развернулся вдруг передо мной впервые через шестьдесят с лишним лет! Высокий, тощий, старый, с розоватым, детским каким-то, простодушным лицом. И ходил всегда в холодную пору закутанным, как ребенок, даже шапку-ушанку завязывал на тесемки. Относились мы к нему с редким уважением и из-за необыкновенности вида и, главное, из-за скрипки, вещи совершенно волшебной в тогдашнем нашем нищенском быту.

Жил он вдвоем с женой, милой, аккуратенькой старушкой в домике совершенно особенном — крохотном, но кирпичном. Единственный был такой в поселке домик, из царских еще времен. Жили, как ангелы, так про них говорилось. Я уже писал раньше о “божественных” стариках в Камыше, так вот эти были тоже “божественные”, вторая такая пара.

Рассказывали об удивительной заботливости жены Кузьмы Филипповича о нем. О том, например, что она для него, сильно заболевшего, ночной горшок подогревала, чтобы тепло было сидеть. И тон помню: осуждение насмешливое (баловство какое!), раздражение, но и зависть.

Матушка получала из года в год открытки с новогодним поздравлением, написанные каллиграфическим, неестественным каким-то, почерком. Подпись была: Севастьяновы. Не знала она таких людей и даже тревожилась — нет ли здесь чего-нибудь нечистого, колдовского. “Опять эти Севастьяновы чертовы” — говаривала. А потом узнала случайно, что это от Кузьмы Филипповича с женой. И растрогалась, и восхитилась: “Какие люди, надо же!”

А еще пара стариков “божественных” лет сорок рядом с нами жила, в трех минутах ходьбы. Домик хиленький послевоенной постройки, участок сада-огорода, хорошо видный с дороги. Все на нем было не просто идеально ухожено, но поразительно красиво, гармонично: расположение грядок, деревьев и кустов, и даже кучки ботвы при уборке картошки. И работали они

вдвоем тоже как-то гармонично, в лад, словно связанные какими-то невидимыми нитями. Словно танец некий старинный чудесно танцевали. Менуэт, примерно. Я не упускал случая на них полюбоваться и называл про себя: Филимон и Бавкида. Супруги такие идеальные в древней Греции, которые прожили в любви и согласии до старости и умерли в один день. Наши старики тоже не подкачали — прожили за восемьдесят и умерли в один год.

Теперь вот думаю — будут ли в будущем такие пары “божественные?”. Будут, конечно, только все реже, реже, реже...

* * *

Есть на пути мироздания, человечества и отдельной жизни человеческой развилки, бифуркации по-ученому, на которых определяется, как все дальше пойдет, с громадной между двумя вариантами разницей. Первая развилка для человека, знаменитая шекспировская: быть или не быть? Положим — быть! Вторая — мирской жизнью жить или религиозно-духовной, монастырской? Положим, мирской. В стремени ее бурном, увлекающем и опасном, или в тихой заводи какой-нибудь? Кто-то стремя выберет, кто-то завод и каждый пожалеет о своем выборе не один раз.

А в конце жизни итог ее придется подводить, “да” ей говорить или “нет”. По натуре будучи скорее пессимистом, все равно не представляю, как можно сказать жизни “нет”. Любая, самая тяжкая, благодарности достойна просто потому, что была...

* * *

Известно, что женщины часто перед смертью распоряжаются, в какой одежде их хоронить. Трогательно и вполне понятно. А вот Бунин даже распорядился цветов россыпью в гроб не класть, а только букетами. Такая заботливость детальная, мелочная и удивляет, и восхищает одновременно. Восхищает привязанностью к жизни в ее малейших проявлениях настолько сильной, плотной, что, кажется, и умерев, он собственные похороны жадно наблюдать будет. Лицо же распорядился закрыть, чтобы не видели мертвого его безобразия. Тут с отношением к черновикам есть прямая связь — уничтожал он их и по той же, примерно, причине — чтобы не наблюдали его творческого “пищеварения”. Именно это слово употребил.

Когда сравниваешь последние годы жизни Бунина и Горького, бывших когда-то друзьями, то поражаешься их разнице: фантастическая слава, материальная роскошь жизни у одного и заброшенность, бедность, почти нищета, у другого. И как же сомнителен, тяжел, пугающ даже горьковский вариант и понятен, человечен, даже прекрасен в смысле религиозном, вариант бунинский...

Еще о Буinine деталь удивительная: картавость речи у женщин для него очень привлекательна была, в письме есть такое признание. На первый взгляд странно — дефект речи, что тут хорошего? А подумаешь и понимать начинаешь: мила ведь бывает иногда эта самая картавость и, главное, очень женственна. И особенная незащищенность, открытость влекущая в ней есть. Обещание некое или хотя бы намек на него.

Кстати, небольшой акцент в речи похожее действие иногда оказывает — тут очарование инородности, особенности, дистанции, которую хочется уменьшить, преодолеть...

* * *

Перечитываю прозу Мандельштама и повторяется первое, давнее впечатление — болтовня. Но какая-то странная, ни на что больше не похожая, затягивающая в себя глубоко и властно. Гениальная болтовня, так, пожалуй. Хочешь, вскользь читай, как она, может, и “набалтывалась” автором, а, хочешь, задумывайся едва ли не над каждой фразой — есть над чем.

Много не то, чтобы очень сложного, но просто заведомо непонятного, как бы случайного, произвольно соединенного. Но и эти места не тяготят, и их читать интересно. Недоумеваешь даже — да почему интересно-то? А воздух свободы полной авторской покоряет, притягивает, оторваться не дает. Тот воздух, которого самому всегда почти не хватает, а тут, вот он тебе, даром дается, дыши...

Похожее чувство чтение Фолкнера вызывает, “Шума и ярости” особенно. И просмотр “Зеркала” Тарковского. Тоже непонятно многое с первого раза, но какая свобода, простор, воздух тот же! Прямой такой выход на то, что художник описывает — показывает, без всяких вспомогательных, объяснительных, для читателя — зрителя предназначенных, добавок. Отпечаток жизни непосредственный, живой, дышащий...

Очень интересно, как, с каким усилием и правкой Мандельштам прозу свою писал? Стихи-то подолгу вынашивал, обкатывал, с вариантами двумя — тремя иногда. Сочинял строчками, а не строфами, по свидетельству Марины Цветаевой. Неужели и проза создавалась так же, и за легкостью и свободой таится тот же труд? Не верится. Впечатление от прозы такое, словно это птица напела. Птица, в терновнике своего времени живущая и поющая...

*Золотого меда струя из бутылки стекла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скушаем, — и через плечо поглядела.*

Очаровывает эта строфа, и не поймешь, чем? И догадываешься все-таки в конце концов: беззаботностью, беспечностью, которая в ней тайно заключена. Не хватает этого всегда, как и свободы. Да они и есть сестры родные, беззаботность и свобода. Не написать без них стихов, как не прожить без воздуха.

А уж забота была у Мандельштама серьезнее некуда — уцелеть. Слепить прямо — таки могла, как ослепила старуха Забота Фауста, дунув ему в лицо. Однако уцелел и даже беззаботность детскую и священную сохранил до конца, до второго ареста. И стихи прекрасные писались до конца по этой, может, причине...

* * *

Светлана Львова, поэт замечательный, прожила жизнь сложную, тяжелую и умирала долго и трудно. И стихи писала до самого конца. Посмертную же ее книгу дочь назвала “Беспечный сад”, выбрав название из стихов. Хорошо зная Светлану, я был поражен точностью заголовка, его соответствию личности автора.

Была в ней та же “беспечность” мандельштамовская, обязательная, может быть, для всякого истинного поэта. И у Пушкина она оставалась неотребимой, несмотря на теснящие его все сильнее тяжкие, мучительные житейские обстоятельства.

* * *

Когда читаешь истинно художественную вещь, живешь в мире, созданном большим художником, то вопрос о смысле жизни не возникает. Потому что она, жизнь, в художественном изображении всегда и неизбежно прекрасна и в этом именно и есть ее смысл и оправдание. И так даже в глубоко трагических вещах, в “Тихом Доне” Шолохова, в “Чевенгуре” Платонова, “Привычном деле” Белова, “Прощании с Матерой” Распутина. Прекрасна там жизнь, но и ужасна. Ужасна, но и прекрасна. И вера в Бога-Творца в таком восприятии жизни есть, пусть и не вполне осознанная. Не могло “прекрасное” получить само по себе, лишь Бог единый его сотворить мог. И художник, отражая творение Божье и сам этим творением являясь. Все

тут связано неразрывно: Бог создает человека-творца, а человек создает творения Божественные, как Пушкин, Моцарт, Рафаэль...

По пути на Оку часто останавливаюсь в одном и том же месте на полевой дороге, и вспоминается бунинское:

*И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
“Был ли счастлив ты в жизни земной?”
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.*

Вот тут и есть и прекрасное творенье Божье — полевые пути, и прекрасное человеческое слово о них.

* * *

Художники (в широком смысле художники) часто бывают суеверны.

Пушкин, выехав из Михайловского в Петербург как раз накануне декабрьских событий на Дворцовой площади, вернулся, встретив по дороге зайца — дурная примета. Выйдя из дома, старался не возвращаться тут же, а вот отправляясь на место дуэли, изменил правилу и вернулся переодеться...

Причина суеверности в том, возможно, что на краю бытия, на краю судьбы чувствуют себя художники, когда любой пустяк случайный может вдруг все изменить. Случай, мгновенное орудие провидения, так тот же Пушкин это определял.

А вдобавок причина суеверности художников может быть и в полной свободе распорядиться жизнью изображаемых ими героев. И очень хорошо можно им сделать, и очень плохо, в живых оставить или убить. Тут-то и почувствуешь, что и сам ты в чьих-то руках — случая, судьбы, Бога. Омар Хайям так и написал: “Бог нашей драмой коротает вечность. Сам сочиняет, ставит и глядит”.

* * *

Чудесные стоят дни, теплынь спокойная, прочная при безоблачном почти небе. Недавно дожди обильные прошли, и от этого в воздухе особенная какая-то мягкость, нежность. Все блаженствует — и люди, и звери, и растения, и сама земля. И хочется, чтобы так оно длилось и длилось, чтобы хватило такой природы-погоды августовской на всю жизнь. Но стоит чуть призадуматься — нет, приедаться такое однообразие прекрасное начнет неизбежно. Иного захочется, пусть даже худшего, но иного. Тут какая-то тайна в натуре человеческой есть, трагическая тайна. И в отдельных жизнях она проявляется, и в жизни народов целых. Устают люди от благополучного однообразия и начинают в глухом раздражении, а потом и в злости агрессивной разрушать то семью, а то и целую страну. Оказавшись же у разбитого корыта, берутся заново все строить на иных каких-то началах. Много причин у войн и революций и это одна из них. Не главная, но постоянно присутствующая. Если развитие идет неизбежно через кризисы, то люди подсознательно сами их отчасти создают — именно от тоски монотонности и однообразия. Уж как томилась этой тоской наша творческая интеллигенция сто с лишним лет назад! “Буря бы грянула, что ли...” — так писалось. Ну, она и грянула!

* * *

Готовили мясо в саду на углях. Приспособление вроде пузатого чемодана — и защелкивается, и ручка удобная есть. Внук Димка ошибся, пережарил резко огромные куски, местами до обугливания, а оказалось все в кон-

це концов совершенно чудесно. Лучшего мяса никогда в жизни, пожалуй, не ел.

Все едят, погрузились, занырнули прямо-таки каждый в свой кусок, а я отошел в сторонку покурить.

Вечер прекрасный до боли, люди самые близкие рядом, а я вдруг как будто издалека их всех увидел. Да еще и так, словно к их компании-команде уже и не принадлежу, в иной какой-то нахожусь сфере, из которой к ним не добраться. Мгновение всего продолжалось такое, а потом с чувством облегчения все обычным стало. Не в первый раз такое произошло в последние годы, какая-то тренировка души к уходу из этого мира, так, что ли?..

Прошлое в старости вспоминается все чаще и приобретает все больший оттенок сказочности. Словно не прожил ты свою жизнь, а сказку тебе о ней рассказали со всем в ней сказочно ужасным и сказочно прекрасным. Может, и этот сдвиг для того, чтобы уходить было полегче? Одно дело из живой, реальной жизни уйти со всеми ее связями-привязями, и совсем другое из призрачной сказки...

* * *

Внук Дмитрий рассказывал на днях про посещение Оптиной Пустыни. Сидят они с подружкой на травке у входа в скит и перекусывают. Монах вышел из скита, старый, хилый, хромой, повозился с чем-то в сторонке, нагнувшись, и к ним с пучком травы подошел. “Это вот сныть, — сказал, — Ею преподобный Серафим Саровский кормился”. Положил пучок рядом с ними и ушел.

А через несколько дней побывал у нас Алексей Хибин, старый наш товарищ по байдарочным походам. Только что из одинокого пешего похода вернулся по глухим и почти безлюдным смоленским лесам. Продуктов у него было с собой на две недели по пятьсот граммов риса и овсянки и соль. Питался травой съедобной, кореньями, грибами, все варил, конечно. Еще и рыба была. Похудел-таки за поход, но самочувствие свое очень даже нахваливал: “Очистился и просветлел”.

И вспомнилось мне послевоенные в поселке нашем. Многие впроголодь жили, а сколько же было летом еды вокруг! Помню, бугры окрестные шампиньонами бывали прямо-таки усыпаны. И никто их не собирал, боялись отравиться, с бледной поганкой шампиньон спутать. И слухи все время ходили: опять семья целая от грибов померла... Вот почему бы было надежно определять эту поганку не научиться? Я, не грибник совсем, и то не только по виду, но даже по запаху с закрытыми глазами ее от шампиньонов безошибочно отличал. Но это потом, взрослым уже человеком. А сусликов сколько мы переловили, пообдирали, чтобы шкурки выделать и в утильсырье сдать! Тушки выбрасывали, и мысли даже не приходило об их съедобности. Больше того, о семье одной, которая сусликов этих ловила и ела, говорили с осуждением и брезгливостью. И व्यюнов, рыбу такую змееподобную, тоже не ели. Можно еще и еще похожее вспоминать. Что ж, оковы запретов, чаще всего бессмысленных и нелепых. Вот Андрей только что вернулся из путешествия по Средней Азии, на свадьбе тамошней, узбекской, побывал и рассказал, что водка на ней, свадьбе, лилась рекой, а вина — ни-ни, ни капли. Коран запрещает, а про водку в нем ничего не сказано, значит, пей, сколько хочешь. Смешно, а того более грустно. Тут и Пушкин вновь припомнится: “О жалкий род людской, достойный слез и смеха...”

Но, с другой стороны, они ведь и необходимы совершенно, эти запреты, как обязательное условие создания культуры. Любые, даже и бессмысленные. Они напряжение эмоциональное и интеллектуальное создают, пространство закрытое, в котором материал культуры варится до некоей готовности, как в кастрюле. Иначе безграничие и хаос. Беспредел по-теперешнему. Все распухнет и растечется до исчезновения. Дело в мере, недаром древние греки придавали ей высшее значение, обожествляли даже. “Есть мера в вещах”. В том, наверное, смысле, что, исчезни мера, и сами вещи исчезнут или перемешаются до неразличимости, границы потеряв.

Случайный знакомец, старик интеллигентного вида и речи, рассказал, что в сиротский дом сын его определяет, а сам уезжает за рубеж. Так и сказал — в сиротский дом. И заплакал.

Знаю я эти “сиротские” дома — и детские, и стариковские. В крошечном нашем поселке-городке Тиме после войны два детдома было, а третий, вроде филиала, в пригородном селе Выгорное. И учился я с детдомовскими ребятами годы многие. Особенности они были, грустнее и серьезнее остальных, а жизнь их представлялась таинственной и чем-то страшноватой. Как если бы они не просто жили в домах своих детских, а службу некую нелегкую несли. Даже одежда, у всех одинаковая, об этом говорила, серая такая, мышастого, по тогдашнему выражению, цвета. А потом неподалеку от стариковского уже, “сиротского” дома я сорок с лишним лет прожил, многое там видел, знакомства среди работников тамошних и среди обеспечиваемых имел. Тяжкое какое слово — обеспечиваемые — и не выговоришь, а ведь употребляется. Еще говорят о них контингент, что еще хуже...

Вспоминается об этих детях и стариках, обеспечиваемых все больше грустное, безнадежное какое-то, но и на редкость глубокое порой.

Одному нашему родственнику, Николаю, пришлось до ухода в армию в Выгорновском сельском детдоме пожить. Располагался он в обыкновенной деревенской хате и находилось в нем около десяти всего мальцов и подростков. И как-то они там жили. Более или менее сыты были, во всяком случае, и одеты-обуты.

Проходит лет двадцать после того, как наш Николай из этого детдома в армию ушел. Живет он уже в Тиму, работает шофером — дальнбойщиком, семью имеет, квартиру хорошую. Нормально живет. И вдруг незнакомый мужик на пороге. “Ты такой-то?” — “Он самый”. — “Ну, вот и пришел... Это ж ты меня в выгорновском детдоме дерьмо заставлял есть?” — “Никого никогда не заставлял. Да ты заходи, разберемся”.

Посидели, разобрались. Поверил гость Николаю, признал, что ошибся. А если бы нет — что бы дальше было? После двадцати лет неугасшего желания сквитаться?

Такая в этой истории глубина, что голова кругом пойдет, если вдуматься. Тут Достоевский нужен или Фолкнер по крайней мере...

А ближний наш “сиротский” дом для престарелых располагался в большом двухэтажном доме прекрасной постройки и с садом для прогулок вокруг. Аллейки, лужайки, скамейки. Вот и гуляли там старушки и редкие старики, и в ближнем магазинчике их можно было встретить. Дом этот с территорией вокруг продали недавно немецкой фирме “Фольксваген”, а “контингент” переселили в пятиэтажку рядом. Внутри, говорят, очень хорошо, но носа старики из этого дома уже почти не высовывают. И некуда, и не выпускают. Что-то вроде комфортабельной тюрьмы получилось. Причина ясна до боли — персоналу так удобней...

А я вот теперь думаю, кому труднее сиротствовать, детям или старикам? Пожалуй, так: детям трудней, а старикам горше...

Самоуважение очень важно и, прежде всего, потому, что, не уважая себя, не сможешь уважать и других. Но есть в нем, самоуважении, особенность опасная и неустранимая: чем умнее и совестливее человек, тем уважать ему себя труднее, а чем он глупее и наглее, тем легче. А в жизни религиозной эта сложность еще глубже: чем истинней вера, тем греховней чувствует себя человек. А уж если святой, то и всех людей греховней. Какое уж тут самоуважение! Хотя, возможно, о нем в богословии христианском и речи нет, в ином совсем слове и смысле оно лежит.

Удивительно, что самоуважение и мера его в домашних животных, собаках особенно, очень заметна. От гордости до самоуничтожения, совсем по-человечески...

* * *

Бобчинский из гоголевского “Ревизора” просит Хлестакова сказать высшим чинам, а то даже и Государю, что есть на свете такой человек — Бобчинский. Смешно, конечно, в первый момент. А потом думаешь — а что, собственно, смешного? Скорее трогательно, мило и даже скромно. Всего-то и дела, что сказать о твоём существовании... Да и в основе желания славы это же самое лежит — чтобы как можно больше людей о тебе знали. В конечном счете все до одного. Вот кто хочет такого, пусть над самим собой и посмеется.

Вообще же мечты о славе дело молодости. И женщины (или даже конкретная женщина) играют здесь существенную роль, что прекрасно выражено в стихотворении Пушкина “Желание славы”. Тут даже и Ленина можно вспомнить — не от Ленского расстрела, как нам в школе объясняли, его партийная кличка произошла, а от некоей Лены. Влюблен в нее был, разумеется, и, скорей всего, безответно. И доказать решил, как она ошиблась. И доказал, не поспоришь...

Начали меня показывать по местному ТВ лет с пятидесяти и поэтому на улице узнавать, в основном в нашем околотке. Сначала чуть приятно было, а потом все большую неприязнь стало вызывать, почти до отвращения. А потому, что время для “желания славы” давно прошло. В молодости заявить о себе хочется, выделиться из толпы — вот он я! А к старости противоположное становится желательным — в люди уйти, смешаться с ними. Раствориться в людях, а там и в природе самой...

Случай с моей околоточной славой очень забавные бывали. Как-то пью пиво из бутылки у ларька, машина напротив останавливается, дама средних лет, вида ухоженного из нее выходит и ко мне: “Спасибо, что вы, такой человек, здесь стоите!” Пообещал ей и впредь постоять, сколько сил хватит. Держалась она и говорила весьма уважительно, но когда ушла-уехала, то подумалось вдруг, не было ли во всем этом и насмешки легкой, невольной?..

* * *

Население нашей окраины увеличилось в последние годы во много раз. Даже бульвар появился с чудесным названием Солнечный. И природа к жилью впритык — овраг красивый с ручьем, пруд, лес. Рай да и только! А вот пользуются им все меньше и меньше — тропинки гложут, зарастают постепенно, лыжни исчезают, склоны оврага, изъезженные когда-то ребятишкой до утрамбованности, круглятся снегом нетронутым. Какой-то великий отлив людей от природы у нас тут произошел. Отчасти понятно — на машинах стали уезжать куда подальше или на дачи. Но это все-таки часть и отнюдь не большая. А остальные? Молодежь, дети, главное? А остальные скорей всего у ящиков, у экранов сидят, живя не своей, а ящичной жизнью. На главной нашей лыжне, на которой когда-то было не протолкнуться, полупусто, молодых мало совсем, ветераны этого дела в основном, средних лет женщины чаще всего.

Понаблюдал как-то школьный кросс восьмого-девятого, примерно, класса. Тяжелое зрелище, до оторопи. Некоторые бегут так, словно делают это впервые в жизни. И лыжный кросс не раз видел и тут все еще страшнее. Многие даже небольшого круга дистанции кроссовой не могут пройти, возвращаются с побитым видом.

Мы, послевоенные дети, отроки и юноши, по сравнению с теперешними акселератами совершенными заморышами были, но с каким азартом в душе! Часы многие проводили на школьной спортплощадке или стадиончике поселковом едва ли не ежедневно. Состязались бесконечно — кто кого?! Дальше, выше, быстрее! Слова эти и мотив музыкальный не только в громадной стране звучал, но и в каждом из нас. Дух времени звучал, совсем иной, чем теперь...

Кроме бега и прыжков, мы и на турнике крутились, и на шесте и канате фокусы разные состязательные придумывали, иногда опасные очень,

но Бог миловал, серьезно не покалечился никто. Копье, диск и ядро добывали у сторожихи школы. Я, кажется, и теперь бы мог в приблизительном соответствии с тогдашней техникой все эти предметы — снаряды метнуть — толкнуть. А еще и защищал спорт в сложной нашей ребячьей жизни, место в иерархии стайной нашей приличное давал. Как-то перед президентскими выборами Путин сказал в интервью, что он вырос в стае ленинградского двора. И так меня это тронуло, потому что и сам вырос в уличной стае поселка Тим. И обе стаи были с большим спортивным уклоном, к счастью. Стаи и теперь, конечно, есть, только уклон у них совсем другой, к сожалению...

* * *

Был, конечно, в Тиму и футбол, наш, детский, с командами “Дружба” и “Стрела”, но и взрослый тоже. Приезжали время от времени сборные из соседних райцентров с нашей играть. Весь, казалось, стадион сходился, вплоть до стариков. Бутсов на всю нашу команду не хватало, и некоторые играли босиком. Знобило, когда кто-нибудь из наших босоногих с противником в бутсах за мяч боролся. Казалось, что самому вот-вот на босую ногу бутсой наступят. Одно время даже прокурор районный в нашей команде играл, чем мы и гордились. Грозно очень слово это тогда звучало — прокурор! Говорили даже, что он никому-никому из начальников не подчиняется, а только Закону. Поверить в такое было трудно, но гордости за нашу команду прибавляло...

Теперь же в передачах про футбол постоянно о продаже игроков говорят и непременно с ценами за них, совершенно чудовищными. На деньги теперь, выходит, вся надежда?

* * *

Случаются время от времени состояния угрюмой какой-то потерянности и тоски и приходится поддержки искать. Был помоложе, читал в такую пору Шопенгауэра, Достоевского, Андрея Платонова, выбирая, что помрачнее. Клин клином пытался вышибать, иногда и помогало. Теперь уж так не могу, силы не те, теперь ищу, что посветлее. Недавно перечитал, к примеру, рассказы старого друга Владимира Богатырева. Орловская деревня Каменка пятидесятых годов прошлого века, все показано с документальной, въедливой точностью, без малейших прикрас: тяжелая работа, бедность вопиющая... И какой от всего этого свет и тепло! Греешься прямо-таки, отмякаешь, отходишь душой и телом. Откуда это?! А от горячей любви автора к тому, что он изображает. “Почему сосны гудят? Ты не знаешь, и я не знаю... А это земля в них гудит”. Прозы Богатырева кусочек, а, по-моему, еще и целое стихотворение прекрасное. Поэзия, как и дух, живет, где хочет.

* * *

Великое место для каждого человека — постель его. Когда-то можно было на одной и той же родиться, зачать детей и умереть. На первый взгляд доля завидная, но потом сомневаться начинаешь, уж очень однообразно.

Постель детства — постель болезней. То мука, томление, поиск позы облегчающей, крошки на горячих простынях, то покой слабости, то выздоровления капризность...

Лет в десять провел 42 дня (карантинный обязательный срок) в заражном бараке (именно так и говорили), в огромной многокроватной палате, в полном одиночестве. Та постель казенная росла день ото дня в моем восприятии, едва ли не весь мир собой заменяя. Не случись ее в жизни, чуть другим бы, пожалуй, вырос человеком.

Постель зрелости пропустим, а вот постель старости детскую весьма напоминает. Если даже относительно здоров, то все равно неловко, маятно, третий бок начинаешь живо представлять. И куда-то тянет подсудно —

участь изменить. В детстве тоже тянуло, только направление было другое. Тогда вдаль, а теперь вниз.

* * *

В день рождения подумал вдруг, что ведь до рождения меня никогда не было. Никогда! Попытался представить такое и ровно ничего не почувствовал. Не было и не было, и ладно. А потом представил, что довольно уже скоро меня не будет, и вот тут-то в душе и защемило. Формально судя, не велика разница: никогда не было и никогда не будет. Симметрия некая, понятная вполне, вот и прими спокойно. Ан, нет, щемит душа при втором “никогда”. Жизни жалко. Прежде всего самой жизни, с ее дыханием и теплом. И всему живому, наверное, так, не только человеку. Все живое за нее, жизнь, держится изо всех сил, защищает, потомству стремится передать. Саму себя жизнь жалеет, так получается. Ну, а вне себя чего жалко? Тут уж чисто человеческое идет, от сознания, памяти, души. С другими людьми больше всего жалко расставаться, а потом с природой, а потом с поэзией, музыкой... С птицей в небе, с бабочкой на цветке, с табунком лошадей на нашем стадионе, который видел сегодня утром, гуляя с собакой. И с самой собакой, шнауцером Луи. Со всем, что там есть вокруг...

* * *

Конец лета, конец дня, закат. Угли костра в саду подергиваются сизо-сиреневым пеплом и небо над тополями такого же, примерно, цвета. Оно и понятно — и день гаснет, и угли тоже.

Вся семья в сборе, но сын и внуки скоро уедут: Андрей в Крым, Дмитрий в Москву, Даша в Смоленск. Везде я был и жил, где годы, где месяцы, где недели. Вот и можно мысленно с каждым поехать, да и побыть-пожить...